

НАДЕЖДА АЖГИХИНА



ДЕВОЧКА
С ПТИЦАМИ

НАДЕЖДА АЖГИХИНА

ДЕВОЧКА
С ПТИЦАМИ

МОСКВА

2021

Фото на обложке – *Юрий Феклистов*

Корректор – *Наталья Захаровская*

Вёрстка и макет обложки – *Сергей Щербина*

Ажгихина Надежда.

Девочка с птицами. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 224 с.

ISBN 978-5-91022-484-5

Вторая книга прозы известной журналистки Надежды Ажгихиной включает рассказы о современных городских жителях, в повседневной жизни которых неизменно отражаются история страны, память предшествующих поколений, не разрешенные в свое время вопросы. Цикл «Хроники Светлого пути» повествует о событиях маленького подмосковного поселка, в котором происходят подчас удивительные события. Документальный цикл «Венок из одуванчиков» посвящен ушедшим близким, участникам важнейших событий нашего недавнего прошлого.

© Ажгихина Н., 2021

© ЦНИ «Актуальная история», 2021

© АИРО-XXI, 2021

ISBN 978-5-91022-484-5

СОДЕРЖАНИЕ

День Победы _____	5
Почему мы её не знали? _____	21
Дом восходящего солнца _____	35
Всё обойдётся _____	53
Миша Гринин _____	64
Девочка с птицами _____	81
«Разбитое сердце» _____	96
Зина и Этичка _____	116

ХРОНИКИ СВЕТЛОГО ПУТИ

Забывтая сумка _____	131
Светлые дали _____	137
«Дурки» и Елисей _____	140
Манин сон _____	144
Цыган _____	148
Следопыт _____	152
Отшельник _____	163
Счастливая _____	166
Ангел _____	174
Химеры _____	177
Голубка _____	181

ВЕНОК ИЗ ОДУВАНЧИКОВ

Дочь переплетчика _____	187
Катя, моя американская сестра _____	196
Бессмертная любовь _____	204
Венок из одуванчиков _____	207
Джейми _____	211

День Победы

Тетю Розу Вера увидела во сне в ночь на 9 мая. Она стояла у клумбы с распускающимися красными тюльпанами, в летнем платье в крупный горошек, и махала ей рукой. Вера прижалась к дереву, огромной старой черемухе, в крупных кистях-соцветиях, пряный запах забивал ноздри, она хотела крикнуть что-то тете Розе, но та уже исчезла. Точно, это парк в их подмосковном поселке на улице Ленина, только черемуха росла не там, а на Вокзальной, неподалеку от станции...

Вера проснулась. Заледенели ноги, она быстро сбросила два одеяла, нашла толстые пуховые носки. Забыла надеть вечером, последнюю неделю без носков спать было просто нельзя, несмотря на работающий масляный обогреватель. Могли бы не отключать отопление хотя бы в карантин.

Запах черемухи не проходил, наполнял холодную комнату.

Она пошла на кухню ставить чайник.

Неужели всё-таки заразилась? – была первая мысль. Пишут, что при ковиде первым делом пропадает обоняние, главный угрожающий симптом. А вдруг наоборот? О вирусе писали разное, он непонятный, в сети обсуждают последствия его воздействия на нервную систему и органы чувств.

Вера взяла градусник, померила на всякий случай температуру. Но температура была нормальная и голова ясная, несмотря на то, что допоздна вчера проверяла работы китайцев о Дне Победы и даже переписывалась с одной студенткой, лучшей из группы, которая упорно не понимала разницу совершенного и несовершенного вида. «Советский Союз побеждал в Великой отечественной войне» – вместо «победил».

Китайцы изматывали, но ей было их жаль, многие не смогли вернуться домой из-за эпидемии, с ними никто не хотел общаться, и в доме аспиранта и студента они стали еще большими изгоями. Хорошо, что еще стипендию платили (из КНР заранее перевели университетскому центру деньги), но о привычной подработке, доставке еды или китайских закусочных, пришлось забыть. А как им без них? На уроках многие спали или играли в какие-то игры на гаджетах, она это видела, но старалась не раздражаться, и ставила всем положительные оценки. Пусть у них будет шанс.

Тетю Розу она никогда не видела во сне. И в жизни видела ее последний раз, кажется, лет тридцать назад, уже больную раком, перед отъездом в Израиль на ПМЖ. Сын Григорий уехал раньше. Тети Тани тоже не было, она лежала в больнице с почечной недостаточностью. Вера мучилась молочницей, прибежала попроситься. Помогать со сборами не пришлось – молчаливые сотрудницы еврейской организации всё сделали сами. Роза продала организации квартиру за две тысячи долларов, которые аккуратно и со знанием дела зашила на глазах Веры в белье и подкладки. Кажется, тогда еще не разрешали вывозить из страны валюту.

Она сидела в огромном кресле, грузная, и тяжело дышала. Но глаза светились, как всегда, озорным блеском.

– На посошок?

– Я кормящая, мастит...

– Да ладно, ладно, – она махнула рукой, – как будто я не знаю, как это. Только больше сжеживаться будешь. Смотри, что у меня есть, из Танюшкиных запасов. – И удивительно ловко, не поднимаясь с кресла, открыла шкафчик, достала поллитровку, налила в граненые стаканы, заставила выпить. Украдкой взглянула на дверь:

– Мне не разрешают, глупые. Не понимают.

Бесшумно спрятала бутылку и стаканы, откинулась.

– Головку держит хорошо? – спросила о сыне. – Уже сидит? Ну молодец, молодец! Как Виктор? Рисует? Видела его на митинге. Не отпускай его, он тебя любит.

Вера помнит, как эти слова укололи. Тетя Роза не спросила о ней, о том, как она себя чувствует, сразу о Викторе. Как будто ее и нет совсем. И когда она успела на митинг, ведь почти не ходит? Попрошались скомкано. Думали, на время, оказалось, навсегда.

Тетя Таня ненадолго ее пережила, совсем замкнулась, похудела, ей назначили гемодиализ. Перед тем как лечь в клинику, она позвонила Вере, попросила приехать и передала завещание на свою однокомнатную квартиру на Студенческой улице. На похороны Розы ее не пустили, это, кажется, было главное, о чём она искренне жалела. Велела себя кремировать.

К ящику в колумбарии Новогиреевского кладбища Вера приезжала каждый год, в ее день рождения – 7 ноября. Всовывала цветы в углубление, и вспоминала всех близких: похороненных в Забайкалье родителей, дедушку с бабушкой, тетю Розу, Виктора... Задавалась вопросом: почему она их всех, в сущности, так мало знала? Было бы что-то в жизни иначе, прожили они дольше? Смогли бы они с Виктором прожить долго и счастливо вместе?

Недостаток тети Розы Вера чувствовала очень остро после развода – в душе образовалась зияющая пустота, сын болел, работа не ладилась, денег постоянно не хватало. Ночами, умирая от усталости за тетрадками учеников, в постоянной простуде, она вспоминала тетю Розу, склонившуюся за пишущей машинкой, в бигуди, чтобы завтра идти на работу, с папиросой, окантованной неизменной помадой, и сон уходил. Всё это было давно, в позапрошлой жизни, и вспоминалось с трудом.

Вера заварила кофе. Включила прямой эфир радиопрограммы, там говорили о начале праздничного воздушного парада и рекомендовали москвичам смотреть на него по телевизору и не подвергать себя риску, выходя на улицы.

Выключила радио. Все дни вынужденной изоляции, особенно когда стало ясно, что это надолго и непонятно, как быть, а пропаганда подготовки к юбилею Великой Победы нарастала день ото дня, ей постоянно хотелось отмыться, как будто лично участвовала в чём-то постыдном и липком.

Интересно, что бы сказала тетя Роза, увидев всё происходящее. Наверняка нашла какое-нибудь словечко. Тетя Таня – она всегда была прямая, четкая – припечатала бы ёмко и без купюр...

На самом деле, дальней родственницей Веринной мамы была тетя Таня, медсестра военного госпиталя, к которой Веру в пятом классе отправили после гибели родителей на Дальнем Востоке. Тетя Таня жила в просторной трехкомнатной коммуналке в «генеральском доме» на Фрунзенской набережной – занимала меньшую комнату, в двух других располагалась семья подполковника, с дочерью которого тетя Таня вместе служила. Роза, тоже фронтовичка, была третьей подругой, приходила к тете Тане почти каждый вечер.

Они были совершенными антиподами – тетя Таня, высокая, худая, как жердь, с неприбранными соломенными волосами, в неизменным бесформенном сером сарафане, и маленькая пышно-телая Роза, с голубыми тенями и яркой помадой... Жена подполковника ворчала, когда подруги засиживались допоздна в Татьяниной комнате и курили или когда Роза вообще оставалась ночевать, и, в розовом халате с райскими птицами и оставшихся с ночи бигуди, неизменно накрывала на всех завтрак – заваривала только что смолотый кофе и разливала его по тонким фарфоровым чашкам с ангелочками из красивого кофейника. На завтрак она резала колбасу, которой Вера никогда раньше не видела, удивительно вкусную, копченую, с тоненькими крапинками жира, открывала банку икры (из «лечебного питания», которое привозил по пятницам утром солдат в форме) – Вера не понимала, от чего лечится сосед. В их гостиной было много диковинных ве-

щей: красивые вазы, инкрустированная перламутром этажерка, картины на стенах, в основном, пейзажи, гроты и приморские деревушки в золоченых рамах, и огромный рояль, на котором целая коллекция статуэток – греческие богини, орлы, снова ангелочки и коллекция слоников.

– Что такое трофейное? – спросила Вера однажды за завтраком, вспомнив непонятное слово.

Татьяна скривилась. Соседка сказала: это из Германии.

– Из магазина «Лейпциг»? – догадалась Вера. Ее новая одноклассница рассказывала, что мать работает кассиром в «Лейпциге», где «выбрасывают» красивые кофточки и настоящие тонкие колготки.

– Из города Лейпцига, – строго сказала соседка. И перевела разговор.

Тети Танина комната была аскетична: узкая панцирная кровать (вторую поставила для Веры), тумбочка, шкаф, полки с книгами, огромное старое кресло, стол. Идеальный порядок не принято было нарушать, за разбросанные вещи Вера немедленно получала выговор. Тетя Таня уходила из дому в шесть, поднимала Веру, заставляла делать вместе с собой зарядку, потом – обливание холодной водой, несмотря на насморк и Верины слабые попытки сопротивляться. У нее был резкий голос и тяжелая рука, она могла дать Вере подзатыльник за невыученные уроки или минутное опоздание и не разрешала открывать книжный шкаф, пока не выучены и не пересказаны уроки и не составлен план выступления на политинформации. Вера надолго запомнила ее строгий взгляд. И потом, через много лет, с удивлением замечала за собой ту же придиричивость и занудство в общении со студентами, привычку по нескольку раз повторять и требовать повторения сказанного...

Тетя Роза была неряшлива и говорлива: за столом без конца роняла крошки, которые тетя Таня спокойно собирала, а тетя Роза

извинялась и снова роняла; её вещи, казавшиеся особенно яркими на фоне ровной серой гаммы комнаты, всегда были повешены второпях и криво; на страницы машинописи, которые она всякий раз приносила тете Тане, Роза нечаянно капала чаем и просыпала пепел. Таня монотонно укоряла, а подруга в сотый раз просила прощения и обещала, что такое не повторится никогда. При всей разительной несхожести, в них ощущалось какое-то глубинное родство и понимание, они часто продолжали мысль друг друга, не дослушав фразу до конца, синхронно сердились или радовались, только с тетей Розой, заметила Вера, тетя Таня улыбалась, переставала сутулиться. У тети Тани в шкафу всегда стояла бутылка медицинского спирта – они с Розой наливали по четверти стакана, запивали водой из графина. Татьяна приносила из холодильника соленые огурцы, они закуривали папиросы, читали стихи из тех машинописных страниц, которые приносила с собой Роза, и другие тексты, пугающие и непонятные, и разговаривали, не обращая внимания на Веру, которая не раз засыпала в кресле под звуки их голосов. Но какие-то обрывки заставляли проснуться. Это было про страшное. Трубы, собаки, Север.

– Откуда трубы? Водопровод? Какой? Как у нас в поселке? – продирая глаза, спросила она.

Подруги замерли на мгновение.

– Спи, дорогая, – нашлась тетя Роза. – Мы читаем письма о том, как глупые люди убивали других людей за слова. И это очень плохо. Это не должно повториться.

То, что слова обладают реальной силой и могут принести беду, она поняла быстро.

Когда после урока мужества, где показывали фильм про ленинградскую блокаду и дневники погибших от голода детей, Вера написала в сочинении, что, может быть, следовало отдать город, чтобы спасти детей и женщин, учительница задержала ее после урока. В тетрадке алела жирная двойка.

– Ты должна уничтожить это сочинение, – сказала она. – И никогда так больше не говорить и не писать. И завтра пригласи в школу родителей.

На собрание пошла тетя Роза, тетя Таня работала. После этого вопросов к Вере больше не было.

Она поняла, что есть слова, которые лучше не называть при малознакомых: вохра, смерш, заградотряд, вертухай, АЛЖИР и другие. Хоть и не понимала их значения – как и матерных конструкций, которыми и Татьяна, и Роза владели виртуозно.

– Расскажи про войну, – просила Вера, – нам задали про подвиги наших дедушек написать, а у меня нет дедушки – только вы с тетей Таней: она зенитчица, а ты вообще партизанка, герой Советского Союза.

– Только один орден Красной Звезды, не путай. Это ваш сосед пайки получает, – отнекивалась Роза.

– А что самое главное было на войне? Расскажи!

– Была любовь, – тихо ответила она.

От Розы, точнее из ночных разговоров, она впервые узнала о том, как убивали евреев.

– Но за что, тетя Роза? И детей? За что?! Почему немцы хотели убить всех евреев?

– Не все. Были те, которые нас спасали.

Вера не очень хорошо понимала, кто такие евреи. В классе были дети с самыми разными фамилиями и внешностью, били вне зависимости от этого и издевались тоже. Но когда через пару дней услышала, как Олька, главная хулиганка школы, отец которой недавно второй раз сел за грабеж, называет жидовским отродьем всеми презираемого за мелкое стукачество хлюпика и зануду Веньку Шалтупера, Вера подождала ее на перемене в туалете, прижала, невзирая на могучее сложение противницы, к стенке и, страшась самой себя, извергла все матерные слова, которые запомнила из Татьянинных и Розиных разговоров.

– Так ты тоже?. Я не знала, – оправдывалась ошалевшая Олька, – прости, больше не буду.

И правда, отстала от Веньки.

О родителях она вспоминала каждую ночь. Чаще всего, как они втроем идут по подмосковному поселку, вечером, от их улицы Ленина к станции, чтобы отправиться на электричке не Красную площадь. Цветет черемуха. Перед станцией дорога идет в горку, Вера отстает, и отец сажает ее на плечи, и кисти черемухи касаются ее лица, она отмахивается и крепко держит отца за шею, он что-то громко рассказывает, и мама заморожено слушает и смотрит каким-то необыкновенным взглядом... В электричке душно и тесно, потом они идут в метро: фигуры взрослых и детей, обтекаемые толпой, все торопятся, как и они. И вот наконец Красная площадь: она снова на плечах у отца, как и все дети, и смотрит, как в небе один за другим вспыхивают и гаснут мерцающая разноцветные букеты... По дороге назад в поселок она крепко спит на руках у отца. Сколько раз, заново переживая это, она грызла молча тощую подушку и хотела умереть. Однажды, когда тетя Таня ушла на ночное дежурство, решилась...

С подоконника ее сняла тетя Роза: взяла на руки, положила на койку. Откуда у нее такая сила?

– Твои родители всё видят, не надо их огорчать, – она гладила Веру по волосам, по мокрым щекам, – ты должна думать о том, чтобы они могли быть тобой довольны...

Она запела на непонятном языке, и Вера уснула.

Через несколько дней случился День Победы: в сквере на набережной цвела черемуха, и Вера вместе с тетей Таней, тетей Розой, соседями и еще целой толпой нагрянувших в квартиру знакомых пошла на Садовое кольцо. Движения по Садовому не было, из всех переулков в море людей на главной магистрали вливались новые ручейки и двигались по Метростроевской к центру, люди несли цветы, пели и плакали. Рядом с улицей Тимура

Фрунзе громыхнула пушка салюта, потом – еще, с другой стороны, и вот уже всё небо в ослепительных лучах и искрах – им нет конца, и море людей тихо колыхается, как будто море, и дышит, дышит... Тетя Таня и тетя Роза крепко держат Веру за руки, у нее мурашки по спине, и каждый взрыв искр отзывается в висках и сердце...

После Дня Победы она заболела: не простудой, врачи нашли ревмокардит и положили в клинику на Пироговке, потом отправили в санаторий, где она провела почти год и узнала много интересного и страшного о жизни в советских интернатах. Дисциплина, воспитанная тетей Таней, а также расширенный, благодаря тете Розе, словарный запас помогли продержаться и добиться уважения в новой среде.

А через полтора года ее забрал в свою семью папин брат, капитан дальнего плавания, получивший квартиру в Москве на Юго-Западе.

В старших классах она чаще приезжала после уроков, сославшись на общественную работу, не к тете Тане, а к Розе, на Арбат.

С тетей Розой она могла поговорить, о чем с тетей Таней не решилась бы никогда: как предохраняться, что делать, если парень изменил с подругой, или когда на комсомольском собрании требуют публично осудить невиновного. Тетя Роза слушала ее исповеди часами, качала головой, поила чаем, роняя иногда в заварку пепел, успокаивала:

– Оставайся всегда собой, это самое главное. Не бойся потерять. Самое страшное – потерять себя. Жизнь длинная.

Роза сгорбилась, все вечера печатала на машинке – дипломы и диссертации, а больше слепые ксероксы. Вера прочитала «Мастера и Маргариту», «Чонкина», «Колымские рассказы». Складывала перепечатанное в дорожные сумки. В других сумках хранились продукты: крупа, конфеты россыпью, папиросы. Иногда к ней приходили люди, молча брали заготовленное, уносили. Как-то Вера пыталась предложить помощь, но Роза ее резко оборвала.

На первом курсе педагогического (обе, Таня и Роза, одобрили ее выбор), она познакомилась с Виктором. Виктор учился в полиграфическом, мечтал стать графиком, рисовал с друзьями на Арбате, его задерживала милиция, Вера вступилась за него как раз в момент милицейского рейда и буквально вытащила из патрульной машины, имитировав семейную сцену.

И притащила сразу к Розе. Дома был сын тети Розы, конструктор из секретной лаборатории, они немедленно напились. И встречались потом почти каждую неделю. Потом Вера даже ревновала, что Виктор стремится к Розе слишком часто.

К другим друзьям и соратникам по демократическим сходкам, где он пропадал всё больше, особенно после того, как они расписались (Вера уже ходила с заметным животом), не ревновала почти совсем. Хотя нет, было несколько раз – она даже сцены устраивала, когда сын болел, а компания на кухне бурно обсуждала последние события. Напрасно, впрочем – всё повторялось снова и снова. Вера падала с ног от усталости, укачивая малыша, одновременно пытаясь сосредоточиться на материале к очередному зачету под привычные уже звуки ночных посиделок за стеной, но буквы расплывались, слёзы жгучей обиды лились по щекам. Виктор не понимал, почему она плачет, обнимал ее пылко, но снова убегал... В ответ на просьбы хотя бы пару дней побыть вместе, без посторонних, дома, отшучивался: «Одиночество вдвоем не для нас»...

Они прожили почти семь лет. Когда невестка недавно спросила, почему они развелись, Вера растерялась.

– Но вы ведь любили друг друга? – настаивала та.

Вера промолчала: хотела было рассказать, но передумала.

В канун 9 мая 1989 года Виктор погиб – разбился на машине. Они с друзьями торопились в Германию, на митинг против Берлинской стены. Бушевала перестройка, Виктор пропадал на митингах, рисовал плакаты гражданских акций, Вера пыталась найти

детское питание для малыша, выбивалась из сил... На развод подала от обиды и одиночества, муж этого, кажется, даже не заметил...

Могли бы они жить вместе, останься он жив? Она так и не могла ответить сама себе.

Вера не заметила, как наступил полдень, время онлайн-семинара с китайцами. Могли ей дать других учеников? Индусов или хотя бы турок, их достаточно в образовательном центре. Или виной – ее участие в протестных письмах против обнуления Конституции, которые многие преподаватели так и не решились подписать, и администрация просила не связываться?

Через три часа, измочаленная, она присела выпить кофе и передохнуть.

Тетя Роза и тетя Таня, что бы вы сказали сегодня, посмотрев на нее?

Почему так мало с вами встречалась в последние годы? Да, тетя Таня не поняла перестройки: она осталась коммунисткой, ее моментом счастья была публикация предсмертного письма Бухарина в «Огоньке», она верила в социализм с человеческим лицом. И работа, которую Виктор послал на выставку к Дню Победы, ей не понравилась: Вера с Розой за столиком в сквере, бутылка и граненые стаканы, в духе Пикассо, «Любительницы абсента». Работу не взяли, посчитали клеветой на образ фронтовиков... Розе, кажется, понравилось...

Не первый раз за время изоляции она возвращалась мысленно к прожитым годам, пытаясь разглядеть что-то важное, ускользающее. Может быть, изоляция для того и была дана, чтобы остановиться и приглядеться к себе? Об этом они говорили с коллегами, после очередных заседаний в непривычном электронном режиме.

Почему ее жизнь сложилась именно так? Почему не вышла замуж снова? Об этом спрашивали подруги. Она сама не знала.

Не то чтобы ни с кем не хотела встречаться, или не было возможности, или сын был против – как раз нет. Но что-то в последний момент не складывалось, и по ее вине. С одним из несостоявшихся мужей она до сих пор созванивалась едва ли не каждую неделю, почти дружила, а с его новой женой они ходили несколько лет на фитнес в один клуб.

– Ты продолжаешь его ждать, – сказала ей однажды гадалка, совсем давно.

Вера не поняла, отмахнулась. Кого еще? Она сама, сама всё для себя решила: организовала уютный дом, продала дачу и помогла семье сына с ипотекой, наладила круг знакомых и собственный покой... Но какая-то смутная мысль не отпускала все дни изоляции, и она застывала в кресле, с остывающей чашкой кофе, как будто вспоминая что-то важное, что никак не хотело вспоминаться.

Ближе к вечеру раздался звонок по городскому телефону, о существовании которого Вера успела уже подзабыть:

– Это Григорий. Сын Розы, помните? – и сказал, что хотел бы зайти, в Москве всего на два дня.

Вера поймала себя на том, что ничуть не удивилась. И вспомнила, что они не виделись тридцать четыре года. Григорий приезжал забрать тетю Розу домой из смоленского постпредства, где бурно праздновали День Победы и где были Вера с Виктором.

Он почти полностью поседел, но выглядел по-прежнему подтянутым, двигался стремительно, белозубая улыбка, совсем не на 73. Импозантный джентльмен. Европейец.

– Завтра День Победы, – и открыл коньяк.

– Я даже рада, что отменили официальные мероприятия, слишком противно, – сказала Вера. – Хорошо, что Роза не видит.

– Может быть, она и видит, – ответил Григорий. – А ты практически не изменилась. Такой же упрямый взгляд, и принципиальность...

– Но как ты сюда смог приехать? Ведь в Израиле карантин самый жесткий?

– Борьба с терроризмом не знает карантина.

Выпили.

– Всегда любил эклеры из кулинарии «Украины», у нас в Тель-Авиве так не научились.

Он снова наполнил рюмки.

– Ты знаешь, я его нашел. Своего отца.

– Кого? – не поняла Вера.

– Его звали Ганс Гиберт, лейтенант вермахта. Ему было 23 года. Мама сказала перед смертью, уже в Иерусалиме.

Молодой немецкий офицер встретил в оккупированном поселке под Смоленском Розу, у которой полицаи забрали брата. Брата отпустили, а в Розу он влюбился, поселил у себя на квартире, он был помощником коменданта поселка и потом несколько месяцев выдавал документы на разрешение покинуть поселок десяткам людей, в основном евреям. Когда по доносу в комендатуру направили проверку, он отправил Розу, уже на сносях, на телеге в соседнюю деревню, откуда она попала к партизанам. Роды были трудные – едва не умерла. Командир отряда сам принимал Гришу (был фельдшером) и написал, что ребенок его. Вскоре погиб. Новый командир отряда, быстро сделавший карьеру после войны, взял Розу с собой в Москву в качестве личного секретаря. Его жена ее ненавидела, подозревала, что Гриша от него, и в конце концов Роза ушла работать машинисткой-стенографисткой в министерство, до самой пенсии.

– Он был единственный сын у матери, она умерла еще до конца войны. Никого из родных не осталось. Похоронен на немецком кладбище в Смоленске: там полный порядок, власти следят, и родственники приезжают. Чище, чем наши братские могилы. Непросто было выяснить. Но ребята из немецких служб помогли. И наши израильяне, конечно. Хотел узнать, как он погиб. Из-за мамы или иначе. Написано – при отступлении. И всё.

– Что ты чувствуешь?

– Не знаю. Моей дочери, кажется, всё равно. Она в кнессет собирается. Шансы высоки, между прочим. Жена на русском не говорит, она из Испании. Внучка в армии, в разведке. Как я? Нет, онлайн. Ловит хакеров. Снимается в феминистских клипах на ютьюбе. Посмотри, он достал телефон, нажал на кнопки: юная Роза, только с фиолетовыми волосами и в камуфляже, пела на иврите.

– Боже!

– Правда, похожа? Вот еще посмотри. (На фото прямо в объектив смотрел Григорий, такой, каким она его впервые увидела в подмосковном поселке. Только стрижка другая. И форма...)

– Послушай, так это...

– Перед отправкой на Восточный фронт. Хотел быть физиком, учился в университете в Лейпциге. Я видел записи экзаменов. Круглый отличник. Интересовался аэродинамикой, возможностями полетов в космос. Жаль, что у меня нет сына. Может быть, ему было бы интересно. У тебя есть дети?

– Сын и внук. Он химик, как мой отец. И жена тоже. Работают в немецкой фирме. Теперь все на удалёнке.

– Ты?

– Преподаю русский как иностранный китайцам. Скоро мы все будем говорить на русском как на иностранном, мне кажется. Может быть, так проще лишать всё смысла. И совести тоже. Я подарила дому ветеранов телевизор. Тошно слушать. Особенно про Победу. Можем повторить, и всё такое.

– Я много работал с заложниками. Коллеги даже удивлялись, почему мне удается. А мне иногда кажется, мы все – заложники.

– Чем дальше от войны, тем больше врут. Мультки показывают про звездные бомбардировщики, студенты думают, что всё это и есть кино, придумывают квесты про блокаду Ленинграда, в детсаду репетируют взятие Берлина... И некому уже им сказать... Все

вооружаются, как в моем детстве, когда мы на уроках разбирали автомат Калашникова и готовились к войне с Америкой...

– Слушай, как я мог забыть! – он совсем по-молодому вскочил, аккуратно вытащил из портфеля картонную старомодную папку. – Это тебе, держи. Аккуратней только.

В папке оказалась лишь одна страница, старая пацифистская листовка, в желтоватых пятнах, что-то против дедовщины и милитаризма, несовместимого с перестройкой.

Григорий жестом попросил перевернуть.

Татьяна и Роза, в сквере у гостиницы «Украина» за столиком, початая бутылка и два граненых стакана, и огромный куст цветущей черемухи. Рисунок черным фломастером.

– Виктор просил передать. Мы встретились на митинге, потом пошли в бутербродную – он собирался в ГДР, с художниками. Меня из-за этого митинга выгнали из лаборатории, оказалось, к счастью, иначе бы мы с мамой никогда не уехали. Но тогда я очень переживал. Виктор быстро нарисовал и просил тебе передать до его отъезда. Прости, что не успел.

– Послушай, так он, оказывается, про меня...

– Про Виктора узнал позже, но тут меня начали в органы таскать, и мама заболела, потом мы были в подаче... Но я помнил, и даже увез с собой, верил, что передам. Да, он про тебя всё время думал. И думал, что вы снова сойдетесь, когда он вернется. Как хорошо, что ты оказалась дома. Ну, я пойду. Нет, сначала на пошок. Неизвестно, когда снова увидимся. Виктор знал, что ты его любишь.

Веру душили слезы...

– Не чокаясь.

Она кивнула, пытаясь что-то сказать.

– Мне несколько раз было очень плохо. И тогда я разговаривал с мамой – она приходила ко мне. И спасала. Даже когда это было невозможно. Я не верю в бога, ни в какого, я по воспитанию

физик и атеист. Но я знаю, что наши самые любимые видят нас. И пока так, смерти нет. Я так думаю. Ты знаешь, я болен, давно. Врачи не пускали в Москву, особенно сейчас, эпидемия. Но я должен был тебя повидать.

Зазвонил мобильник, неожиданно, громко. Невестка с сыном сообщили, что у них антитела, и у внука тоже – оказалось, переболели еще зимой, а они и не знали, думали, что грипп, и они завтра готовы наконец к ней приехать и вместе отметить День Победы.

Григорий засобирался, достал из портфеля респиратор, перчатки.

– Ну, будь.

– Всё будет хорошо! Приезжай! Ты непременно поправишься, и мы вместе...

– Да, непременно.

Он быстро обнял ее и ушел.

Вера вернулась к столу, не в силах оторваться от рисунка. Не заметила, как наступил вечер, как пищал переполненный сообщениями телефон.

Поздно вечером по городскому позвонил встревоженный сын, не понимающий, почему она не отвечает на сообщения, и еще больше взволновался, услышав, что Вера получила старое письмо от давно погибшего отца, которого он едва помнил.

– С тобой всё в порядке?

– В полном, – спокойно ответила Вера. – Я узнала, что он меня всегда любил.

– Слушай, ты устала от своих китайцев, я попрошу своих немцев тебе новое снотворное достать, у них многие на него перешли в эпидемию.

В эту ночь она впервые с начала эпидемии заснула легко и спокойно. Ей снилось, как они идут с родителями с улицы Ленина, к Вокзальной, она на плечах отца, и ветки черемухи касаются лица.

Почему мы её не знали?

В ковидном бреде, когда границы между явью и инобытием растворяются, оживают лица и голоса, которых уже давно нет, и сознание продолжает незаконченные с ними разговоры. Сын, доктор, объяснил это вполне научно: такова природа вируса, он возбуждает мозг больше, чем обычный грипп, и общение с покойниками или просто видения в духе Дали и Магритта – норма. Не знаю. Может быть, так и есть, а ненормально как раз то, что память сердца ничуть не лучше памяти рассудка и быстро стирает, как на песчаном пляже, даже самые важные когда-то знаки. Ковид просто корректирует наше несовершенство.

Чаще других в эти дни я видела моих бывших однокурсников – Сашу Авдони́на и Сашу Бродского, мужскую половину нашей тогдашней неразлучной четверки. Они приходили ко мне почти каждую ночь, которую я не вполне, впрочем, отличала от дня, и каждый раз это была радостная встреча. Хотя никак не могу вспомнить, о чём именно мы говорили. Когда-то, в позапрошлой жизни, мы звали их для краткости Саша А. и Саша Б. – так придумала Майка. Сама Майка в наших встречах отсутствовала. Зато с нами была Натка Полонская. Та самая, из Питера, с Фонтанки. О чём говорили с ней, тоже не помню. Но неотступающее чувство вины за что-то, что мы могли, но не сделали, остается. Хотя что мы могли для нее сделать на самом деле? И почему, почему мы ее совсем не знали?

Майская поездка в Питер в конце второго курса полностью перевернула нашу жизнь. На Фонтанку, в ту самую квартиру, мы попали случайно. Адрес Саша А. получил от соседа, неформаль-

ного художника Дрю, и слова, которые надо было сказать, как только нам откроют дверь. Что мы от Топа и Мокасея. Это было настоящим спасением – наша очередная вылазка висела на волоске, так как Майкина бабушка, милостиво принимавшая нас вот уже почти два года, загремела в больницу с переломом шейки бедра, а тетя наотрез отказалась дать ключ от ее комнаты в коммуналке на Литейном. Это грозило катастрофой – без поездки в Питер очередной выпуск нашего тайного альманаха «День дна» не имел никаких шансов родиться. Это была больше, чем традиция, сложившаяся уже на первом курсе, – это был непреложный закон. В Питер – и никак иначе! Приближающаяся сессия нас не пугала, мы уже успели освоить азы общегуманитарного подхода к сдаче любого предмета, вне зависимости от массива информации и посещенных лекций. Саша Б. имел к тому же репутацию эрудита, победителя всех институтских олимпиад; помимо невероятного количества дат, имен, цитат и сюжетов, он знал, как незаметно направить внимание экзаменатора в нужное тебе русло, и успел нас этому научить. Была весна, в Москве зеленели деревья, набухали почки сирени, настоящие звуки и запахи весны еще не проснулись, но предчувствие их волновало не меньше. Май!

Дверь в нужную нам квартиру выходила прямо во двор – это мы поняли, когда свернули в арку. Во дворе громоздилась арматура, какой-то строительный мусор, пахло плесенью; в углу, рядом с обнажившейся кирпичной кладкой, тянулся к свету чахлый кустик сирени, едва успевший выбросить первые листочки. Нам открыла сонная девица, на ходу натягивающая футболку на голое тело. Мы сказали нужные слова. Она ничего не ответила и пустила внутрь. В полумраке мы увидели две незастеленные кровати, фортепиано, на котором алел разметавшийся шелковый халат с райскими птицами, огромную пальму, в горшке которой теснились переполненные окурками пепельницы, аккуратно сложенные в углу стопкой ноты, на них – недопитая бутылка виски из «Березки».

– Марго, еще четыре кофе, – крикнула девица (голос у нее оказался звонкий и красивый), – кидайте всё в прихожей, сейчас познакомимся.

Огромная рыжая тетка привезла откуда-то столик на колесиках, кофейник, буханку хлеба, из маленькой двери сбоку появилась еще одна девица очень маленького роста, ловко прибрала постель, превратив расхристанные лежбища в строгие диваны, оттащила наши рюкзаки в другую комнату и погрузилась в кресло по-турецки, закурила тонкую сигарету с мундштуком.

Хозяйку звали Крис, у нее были необыкновенной синевы глаза и красивые руки, она грациозно стряхивала пепел прямо на кусок хлеба – «яичница по-студенчески». Крошечная девушка, Верунчик, вместе с ней поступала в театральный; про Марго мы так и не поняли; все ждали какого-то Стаса, который должен скоро прийти и принести портвейн. Мы понемногу привыкли к полумраку – оказалось, самая большая комната не имела окон, свет попадал из кухни, люстры тем не менее не было, какие-то кривобокие торшерчики по углам не могли полностью преодолеть сумеречность обстановки, прокуренной так, что даже у нас, привычных, как нам казалось, ко многому, скоро заслезилась глаза.

Оказалось, дом, куда мы попали, – не просто аварийное жилье, подлежащее скорее сносу, чем реконструкции, но настоящий памятник истории, связанный с именем Пушкина, – пристройка особняка, в котором когда-то собиралось литературное общество «Сверчок», а в пристройке тогда жила прислуга. В советское время пристройку разгородили на несколько квартир и две комнаты дали деду Крис, энкаведешнику, перед самой войной. В блокаду он расстреливал «врагов народа», людоедов и паникеров, был сам потом расстрелян и позже реабилитирован. Крис подливала в кофе остатки виски, говорила не останавливаясь: квартиру уплотняли, жили три семьи, все стукачи, мерзавцы, говорили, ели обессилевших детей в блокаду, бросали в суп живых мышей,

Крис помнит, как ее пугали, что сварят вместе с мышами, а мыши дергали лапками и пищали, когда их бросали в варево, так тоненько... Суки, суки!!! – она вдруг зарыдала, раскачиваясь, закрыв лицо руками, Марго бросилась ее успокаивать. Мы пошли гулять.

Наша компания – Майка, я, Саша А. и Саша Б. – возникла в первую неделю учебы, как-то сама собой. С Сашей Б. мы когда-то занимались у одной репетиторши, Саша А. оказался его одногруппником; с Майкой разговорились под дождем у объявления с результатами экзаменов во дворе института и с тех пор не расставались. Может быть, потому, что мы все чувствовали себя немного чужими на курсе. Никто не видел себя будущим педагогом. Саша А. уже пытался поступить на филфак, не набрал баллов, лежал полгода в «Соловьёвке», получил диагноз, освобождающий от армии, но перечеркивающий путь в университет. Саше Б. мешал стать искусствоведом «пятый пункт»; Майкин отец-«цеховик» отбывал наказание. Меня убедила поступать в педагогический учительница литературы, точнее, ее подруга, переводчица и исследовательница Серебряного века из ИМЛИ. Она считала, что образование лучше получать там, где меньше пафоса и идеологии. Оказалось, что оба Саши также увлечены Серебряным веком, а Майка знает наизусть два собрания «Чтеца-декламатора», хранит дома подборку «Нивы» и первые издания Мандельштама, что бабушка ее, в прошлом машинистка, знакома с Лидией Гинзбург и ездила в ссылку к Бродскому... Мы с Майкой почти каждый день возвращались с занятий пешком – по Метростроевской, мимо Музея изобразительных искусств, Манежа, до проспекта Маркса. Иногда – до Детского мира, иногда, наоборот, сворачивали раньше, на Арбат, петляли переулками...

Я жила у Савёловского вокзала, Майка – в Сокольниках; я – с родителями, Майка – с матерью и братом; обе – в малогабаритных, с крошечными кухоньками, «двушках», куда не торопились

возвращаться. Куда интереснее было шагать по центральным улицам, повторяя любимые строчки, делиться сомнениями, вместе пытаться понять таинственный мир новых взаимоотношений и себя самих... Я была тощая и длинная, сутуловатая; Майка – невысокая, пышногрудая, кудрявая, с огромными карими глазами, в грузина-отца, но нас называли сестрами, и мы чувствовали себя как сестры, которых у обеих не было. Майка была немножко влюблена в «инопланетянина», равнодушного к женской красоте Сашу Б., я думала о Саше А., который то оказывал мне знаки внимания, то переключался на кого-то еще. И обе мы открыто и безнадежно любили Дрю, соседа Саши А., старше нас года на четыре, настоящего художника андерграунда, участника подпольных выставок, к тому времени уже отца близнецов, живущего в «открытом» браке с манекенщицей из Дома моделей на Кузнецком.

Он нередко стрелял у Саши сигареты, рубль или два, иногда просил приглядеть за близнецами, когда нужно было днем отлучиться – в это время жена и теща были на работе. У него собирались необычные люди: художники, от них веяло свободой – в одежде, в манерах, в словах; тут иногда читали вслух «Москву-Петушки» и «Чонкина», обсуждали акции «Коллективного действия», формулировали основные тезисы нонконформистских манифестов... Мы отрывками слышали, но жадно впитывали всё это. Нас влекло в этот мир неодолимо. Дрю великодушно не гнал нас, просил время от времени помочь по мелочам, чему мы были несказанно рады. Как-то он сказал, что мечтает изобразить маслом двух «голубых» в поцелуе на воротах школы КГБ. Или на стене российского посольства в Америке, и чтобы над их головами клубились вороны.

Вороны были его коньком. Самый знаменитый его холст – выставлялся несколько дней на Грузинской, откуда, впрочем, его быстро убрали, – назывался «Воронье гнездо». И мастерская была заполнена вороньём в разных видах – стаи над городом, воро-

нята на детской площадке выклевывают глаз у ребенка, вороний глаз над картой СССР; ворон, утаскивающий невесту из церкви...

Для нашего тайного журнала он придумал обложку – точнее, сама идея возникла благодаря Дрю, который, как обычно, меланхолически вращая в невыразимо красивых пальцах зажигалку, проговаривал какие-то мантры, настраиваясь на очередную работу (помнится, тогда у него был заказ на коллаж для «Сельской молодежи» по случаю очередного Дня рождения комсомола. Он считал, что «видения» – так он называл свои абстрактные эксперименты – важно «пробормотать», тогда вылетевшие слова и звуки оживут и визуализируются. «День дня, – бормотал он – без дня, день бля, день блю, день блин, день дня, день дна, без дна, день дна...»

– А что, «День дна», по-моему, ничего!

Мы радостно согласились. Дрю был кумиром нашей компании, милостиво допущенной в святая святых. А вы тут – он обратился к нам четверым, привычно распределившимся на табуретках мастерской – об этом напишете в разных жанрах. И набросал эскиз: вороны летят в трубу, она изгибается вниз, как колено в раковине, внизу – пустота. Через неделю мы все, не сговариваясь, обменялись рукописями: Саша Б. написал рассказ об искателях Атлантиды, погружающихся в океан, гибнущих один за другим, но так и не достигших затонувшего мира; Саша А. – эссе о поэтике падения в «Петербурге» Андрея Белого; Майка – стихи о Черубине де Габриак; я – набросок о неудавшемся самоубийце-подростке... Так родился неподцензурный журнал «День дна», который стал центром нашей тайной жизни, заполняя дни и ночи почти два года. Это было не просто приключением, спасающим от душной действительности, навязчивой тоски обязательных предметов и тошнотворной пропаганды, – но истинным убежищем.

Мы вчетвером прошли по намеченному маршруту: Исакий – Петропавловка – Русский музей (выставка Ларионова, увы, за-

кончилась) – Фонтанный дом – книжный; остановились в любимой пирожковой на Невском и направились назад на Фонтанку. Крис, распахнувшая дверь, сказала заплетающимся голосом: «А всё-таки Топ и Мокасей – это один и тот же!» – и упала в объятия Саши А.

В комнате бурлила жизнь. Мы втиснулись на диванчик у входа. Рыжий парень (как оказалось, тот самый Стас, которого ждали утром), не вынимая сигарету из рта, пел Галича. Вскоре Саша Б. перехватил инициативу, взял гитару. «Пилигримы». Всеобщий катарсис. Наполнение стаканов. И тут – тут вошла она. Точнее, они. Тонкая, как свечка, в узеньком джинсовом комбинезоне и крошечной белой кофточке с короткими рукавами, белокурый венчик волос а ля сессон и невероятные, совершенно прозрачные светлые глаза. За спиной у нее материализовался бритый бугай. С их появлением что-то изменилось в пространстве. Саша Б. поперхнулся на полуслове. И все прочие как будто остановились, выдохнув на минуту, освободив пришедшим место. Они примостились на пуфике рядом с нами, девушка благосклонно приняла стакан портвейна, аккуратно снимала пятерню спутника со своего бедра, сопровождая это великолепной улыбкой, кивала в такт исполнению Саши Б., который смотрел на нее оловянными влюбленными глазами, как, впрочем, и все. Бугай рядом с ней, по мере выпивания, все активнее пытался обнять ее, и она всё так же аккуратно снимала его пятерню с себя, внимательно прислушиваясь к обрывочному разговору. Что-то из сказанного Сашей А. ее заинтересовало, она неожиданно стала читать Софию Парнок низким глубоким голосом. Бугай стал тянуть ее в соседнюю комнату, кричать, что он заплатил заранее. Ему вмазали, он утих.

– Может, покурим? – предложила Натка (мы уже знали, как ее зовут).

Началось броуновское движение: Наткиного бугая утянула в соседнюю комнату Марго, Верунчик забивала в папиросы траву,

откуда-то возникла крупная финка Арья в мексиканском пончо, Натка уже сидела у нее на коленях, народ приступил к употреблению. Я никогда не курила марихуаны. У меня не получалось.

– Я тебе вдую, не бойся, – Крис приблизилась ко мне. – Вдыхай! – и я отключилась. Последнее, что помню, – Натку в ореоле золотых волос, она смеялась и не могла попасть в рукав, кажется, они с Арьей куда-то уходили.

Очнувшись я на лавочке, болело всё, было холодно, в голове катался раскаленный шар. Саша А. держал мою руку, сказал, что я блевала всю ночь и пыталась от кого-то отбиваться. На соседней лавочке лежала свернувшаяся клубочком Майка, Саша Б. дремал сидя. Мы побрели назад, на Фонтанку.

Оказалось, что мы ушли оттуда вовремя: вечером нагрянула милиция, не из-за марихуаны (она быстро закончилась), а из-за Стаса – он накануне помочился на советский флаг в «Сайгоне», как будто в знак протеста против вторжения в Афганистан. Стаса повязали, у всех переписали документы, про нас никто не вспомнил. Крис собиралась в милицию, в строгой блузке и узкой юбке очень походила на учительницу младших классов. «Это было хулиганство, чистое хулиганство, – репетировала она. – Но в «Сайгоне» перепутали. Я должна им всё объяснить. Они поверят». Выяснилось, что она знакома с начальником отделения («хороший мужик, но важно прийти и всё уладить»).

В квартире ничто не напоминало о вчерашнем, даже запах марихуаны выветрился. Мы сели пить чай, после него сморило, я заснула в кресле.

Проснулась от того, что читали стихи. Точнее, читал Саша Б., голос у него немного дрожал, чего никогда раньше не случалось. Он читал Бродского – Натке. Та сидела по-турецки на диване не шелохнувшись, вытянув длинную шею, на которой пульсировала голубая жилка. А Саша Б. смотрел на нее так, как никогда не смотрел ни на кого, и читал безостановочно – одно стихотворе-

ние за другим, как будто боялся остановиться или боялся, что Натка исчезнет. Он не заметил, как я поднялась и на цыпочках вышла из комнаты.

На кухне Крис считала доллары, толстую пачку, делала какие-то заметки. Доллары я видела раньше только в кино.

– Всё в порядке? – спросила я. – Со Стасом?

– В порядке, – Крис сложила пачку в конверт и спрятала среди пакетов с крупой на полке. – С этим (она кивнула на конверт) всегда будет в порядке, – и зло засмеялась. Крупу она копила на передачу мужу в колонию.

Ночью, засыпая на полке плацкартного вагона «Красной стрелы», Саша Б. буркнул: «Следующий “День дна” будет о Прекрасной даме».

Наверное, то был лучший наш выпуск. Майка погрузилась в творчество Софии Парнок: в литературном журнале только что напечатали ее переписку с Цветаевой, и Майка написала венки сонетов. Саша А. писал послания к Прекрасной даме; я – диалог с ней обычной современной девушки; Саша Б. – огромный трактат о Лолите, нас всех поразивший... На обложке он нарисовал символический портрет Натки. Работа заняла месяца полтора, всё это время мы без конца говорили о Натке, о криминальной среде Питера, о материализующихся в питерском тумане мифах прошлого, о невозможности счастья... Мы все незаметно влюбились в нее, точнее в тот образ, который придумали.

– Ты думаешь, она берет деньги за секс? – спрашивала как-то Майка, когда мы курили на ее кухонном диванчике под радиатором. Майкина мать курила, так что дыма было нечего опасаться. – И с мужчин? Или с женщин? Скажи, а ты могла бы полюбить женщину?

Я не знала. Я думала о том, что Саша А. не ночевал дома и не пришел на лекции.

Работа над номером заняла месяца полтора, помешала сессия; за это время образ нашей Прекрасной дамы обрел некую мону-

ментальность, отрешенность, мы пытались снова поехать туда, но получилось только у Саши Б. Наш роман с Сашей А. после второго курса наконец увенчался совместным проживанием в квартире родителей, уехавших в отпуск.

Проснувшись рядом со мной после первой официальной совместной ночи, Саша А. блаженно потянулся, и сказал:

– Знаешь, что мне снилось? Что ты, я и Натка, все вместе, вот так...

И, заметив мое лицо, застыдил:

– Ведь мы же должны всё друг другу откровенно рассказывать?

Вернувшийся из Питера Саша Б., осунувшийся, измученный, рассказал, что видел Крис, даже встречался с ее свекром – профессиональным картежником; что муж Крис сидит за мошенничество и чуть было не загремел за валютные махинации, но вовремя кого-то сдал и откупился; что у Крис есть маленькая дочка, а Натка – ее кузина, безотцовщина: мать умерла, опекун-дядя заставил ее спать с ним, когда ей было всего двенадцать, она пыталась посадить дядю, но сама попала в детский интернат для малолетних преступниц, не смогла, как и Крис, поступить в институт, работает секретаршей в райисполкоме.

– И никакая она не лесбиянка, – завершая рассказ, заметил он.

– Ты уверен в этом? – недобро прищурясь, спросил Саша А.

– Совершенно, – гордо ответил Саша Б. и покраснел. – Она такая... Я ее спасу! – почти прокричал он. – Я смогу!

Вечером Майка рыдала у меня в кухне, размазывая тушь по щекам.

– Я ее ненавижу, слышишь, ненавижу, я готова ее убить! Это всё из-за нее! Ненавижу!

– Я тоже, – тихо вдруг сказала я.

Наш «День дна», как и наше восхитительное братство-сестринство, как и всё наше затянувшееся полудетство-полуюность, закончились враз и страшно.

Перед самым Днем рождения комсомола на курсе вдруг созвали внеочередное собрание. Начальник курса, Иван Андриянович Дёмин, подготовил зубодробительную обличительную речь против пособников империализма и сионизма. И главным героем ее стал – Саша Б.! А также наш альманах. Дёмин, а вместе с ним парторг Бажов, маленький плотный человечек незапоминающейся внешности, в роговых очках, которого боялись все, включая преподавателей, руководили собранием. Дёмин говорил что-то немыслимое о том, что пока наши комсомольцы выполняют интернациональный долг в Афганистане, вражеская разведка не дремлет и совращает незрелые умы, что сионистские эмиссары завербовывают молодежь, снабжая подпольной порнографической литературой, и на нашем факультете завелся рассадник. «Самиздат! Декадентские штучки! “Лолита”! Питерские проститутки и марихуана! Прославление распада и сексуальной вседозволенности! – кричал он. – И кто? Тот, на кого мы надеялись, кому оказывали доверие! Оказывается, подвергается дискриминации и уезжает в Израиль!»

Бажов кивал и записывал. Комсорг курса, давняя поклонница Саши Б., Зинка Быстрицкая, выскочила на трибуну и оттарабанила что-то о позоре и предательстве и предложила исключить Сашу Б. из комсомола. Кто-то спросил насчет самиздата, тогда довольный Бажов достал тетрадку и стал цитировать из последнего «Дня дна», как раз эссе о «Лолите».

– Но этого мало, – сняв очки, добавил он. – Агенты влияния склонили к сотрудничеству неокрепшие души сокурсников, как выяснилось. – Майя Хакабадзе, дочь, между прочим, расхитителя социалистической собственности, пишет об однополрой любви, вот ее стихотворение «Белая птица», чистый декаданс. И это будущие педагоги? Воспитатели советских школьников? – он строго окинул взглядом аудиторию. – Не пройдет!

Саша Б. сидел белее полотна. Майка закрыла лицо руками. Аудитория потрясенно молчала. Саши А., как я заметила, вообще не было.

– Исключить обоих из комсомола – вклинилась Зойка. – Голосуем! Все за? Кто хочет высказаться еще?

– Я хочу, – я подняла руку.

– Алина Иванова, знаем вашу бабушку, отличника народного образования, старую большевичку, хорошие семейные традиции, скажите, – одобрительно кивнул Бажов.

– Я против исключения. Я не считаю, что гордость курса Саша Бродский – враг и отщепенец, он талантливый человек. И он не хочет ехать в Израиль с родителями. И даже если бы хотел, – я не знаю, что на меня нашло, – родители родителями, но это не всё значит. Моя бабушка, первая комсомолка и даже пионерка, вышла замуж за сына управляющего шахтами Михельсона, лишенца, он был инженером во время Шахтинского дела, и его бы расстреляли ни за что, если бы не брат бабушки – он работал в НКВД. Оказалось, дедушка ни при чём, он честно работал, всю жизнь был примерным коммунистом, получил ордена. А другой брат бабушки, герой войны, он вообще женился на вдове белогвардейца и воспитывал ее дочь, которая прошла всю войну зенитчицей и сейчас, между прочим, супруга помощника Машерова. Всё решает сам человек! Саша – наш товарищ, он не хочет уезжать, он сделает славу нашей стране еще, он, наконец, может кого-то спасти! Не нужно его исключать!

Я почти кричала и видела, как кривятся лица парторга и начальника курса, Зойки, как подняла лицо Майка, как происходит какое-то движение в аудитории...

Собрание перенесли.

– Кто всё-таки нас сдал? – спрашивала меня потом Майка. – Неужели он? И почему его не было? – она говорила о Саше А. – Почему?!

Через два месяца я вышла замуж за молодого журналиста-внештатника Мишу, студента мехмата, который пришел к нам собирать информацию для статьи в «Московский комсомолец» о нашем разгроме. Статью так и не напечатали, но мы подали заявление в загс через неделю после знакомства. Началась совсем другая жизнь. Сашу Б. всё же исключили, правда не из комсомола, но из института. Саша А. стал секретарем комитета комсомола на общественных началах и готовился к свадьбе с Зойкой. Об этом рассказывала Майка, но мы с ней мало общались: я ушла в академку из-за трудной беременности, а она тоже выскочила замуж, за курсанта училища погранвойск, и уехала на окраину Москвы. Потом – кажется, куда-то в восточную страну, вместе с мужем.

Через восемь лет после рождения второго сына мы отпросились у родителей и рванули в Питер – у мужа там была конференция, в которой впервые российские аспиранты участвовали вместе с западными молодыми учеными.

На Невском, совсем недалеко от Гостиного двора, мы нос к носу столкнулись с парочкой – пожилой господин, с повадками эмигранта «первой волны», с тросточкой, и хрупкая блондинка, в шляпе с широкими полями, в темных очках. Она сняла очки и – бросилась мне на шею. Это была Натка. Она почти не изменилась, только тонкие неуловимые морщинки появились вокруг губ. Мы пошли вместе в «Асторию», потом гуляли по Летнему саду, пока у спутника Натки не отказали ноги, потом транспортировали их назад в отель... Всё это время Миша наблюдал за ней, и я видела, как меняется его взгляд.

– Мне кажется, твоя знакомая скоро погибнет, – сказал он мне в гостинице, когда мы раздевались. – Не знаю, от наркотиков или от чего-то еще. Жаль.

Я вдруг поняла, как просто желать кому-то смерти. И ужаснулась себе. Это был 1999 год.

Совсем недавно по «Фейсбуку» я получила запрос. Некая Майя Гонзалес из Оклахомы хотела со мной задружиться и спрашивала,

помню ли я «День Дна» (Day of Hell). Это была Майка. Она приезжала в Питер с группой миротворцев и строителей новых мостов между народами России и США, основанной еще в годы холодной войны, и приглашала меня выступить спикером. Я, конечно, согласилась, и мы встретились. Майка почти не изменилась, полнота не в счет – те же горящие глаза, кудри и горячий нрав. После заседаний мы пошли гулять по нашим старым местам, почти неузнаваемым – новые вывески, новые знаки. На памятной арке дома на Фонтанке – кодовый замок и знак известного банка. Никакой возможности заглянуть во дворик, нам памятный.

Мы пошли в ресторан «Астория» поминать друзей.

Саша Б. стал известным исследователем, искателем Атлантиды, получил международное признание и умер от инфаркта в Испании во время съемок очередной программы несколько лет назад. Саша А. стал известным филологом, издателем лучших книг по Серебряному веку, и умер из-за врачебной ошибки через полгода после Саши Б., в самом расцвете своей карьеры. С Зойкой он развелся, но не успел оформить все бумаги, так что всё наследство досталось ей. С Сашей Б. они так и не успели примириться. У Саши Б. есть дети, в Израиле. А Натка – сказала Майка – она умерла давно, в 1999-м.

– Пойдем к ней? – предложила она.

И мы отправились.

Мы шли по кладбищу, мимо памятников известным и неизвестным, мимо могилы Ксении Петербургской (Майка шла уверенно и целеустремленно – откуда она знала путь?) и прибрегли наконец на место. Строгая стела и фотография в стандартном эллипсе: смеющаяся Натка в костюме Арлекина, красно-желто-синие панталоны, красочный колпак, широта жеста – и радость и счастье, хлещущие через край...

Кто сделал этот памятник?

Почему мы ее такой никогда не знали?

Дом восходящего солнца

Сообщение пришло после полуночи, в начале первого. Рита нащупала телефон на тумбочке. На секунду замерла, не решаясь включить экран.

Какая глупость, что забыла перевести его в беззвучный режим, теперь не заснуть до утра. Сколько раз говорила себе – после одиннадцати никаких разговоров и переписки. У тебя только что был ковид. Главные правила реабилитации – покой и режим. Питание по часам. Прогулка на свежем воздухе. А главное – сон! В 23:00 выключать все гаджеты, телевизор, чтение в кровати – только успокаивающее, не больше пятнадцати минут. Так сказал врач, да и все кругом это знают. Никаких цейтнотов, ночных бдений, восемь часов сна – закон. Даже если все предшествующие десятилетия было по-другому. Вирус не шутит, он имеет непонятные свойства и неизученные последствия. Спать!

Но как раз спать у нее не получалось. Даже в самый пик болезни, практически недвижима, она постоянно вела диалог и с близкими, и с уже давно забытыми людьми, мертвыми и живыми, с персонажами прочитанных книг и фигурами художественных полотен, не всегда понимая, во сне это или наяву, – и это был какой-то тяжелый, мучительный разговор, сути которого она никак не могла вспомнить, но отчетливо ощущала опустошенность и бессмысленность всего происходящего и себя самой.

Врач, сын знакомой, сам только что переболевший, уверял, что глюки и общение с покойниками – это нормально, так же, как и страх надвигающегося безумия: ковид действует на психику, это его специфическая особенность, в отличие от обычного грип-

па. Всё проходит через пару недель, ну, за месяц в крайнем случае. Она, конечно, знала и читала, что может и за месяц, и за два не пройти, и вообще, осложнений очень много, обнаруживаются позднее, самые неприятные. Хуже всего – на голову. Хорошая душа помощница Лика прислала переводной текст о том, как в результате перенесенной инфекции развиваются паркинсонизм, Альцгеймер и банальная деменция.

Рита внимательно прислушивалась к собственному организму, стараясь уловить признаки приближающейся беды. Однако с каждым днем замечала небольшую прибавку сил и прояснение сознания – теперь уже спокойно могла смотреть телевизор, сама мысль о котором еще недавно вызывала острую резь в глазах, отвечать на электронные письма. Вернулось обоняние, став, кажется, еще тоньше, по крайней мере, запахи из соседской кухни, где любили пережаренное, раздражали больше обычного, когда она открывала дверь на лестничную клетку, чтобы вынести мусор. Появился аппетит. Но привычная легкость и скорость, с которой Рита принималась за выполнение любой задачи, никак не возвращались. Она медленно ходила, медленно готовила еду, медленно убирала постель, медленно думала. И хотя ковидные кошмары, в которых дальние и близкие умершие знакомые совмещались с монстрами Босха, прекратились, чувство отчаяния и бессмысленности периодически подкатывало к горлу, мешая дышать.

Врач, Герман, говорил, что это постковидное. Молодой, веселый, он и назначения делал полусуто, после его визитов становилось определенно легче. Он всё время спешил: неизменный смартфон у уха – измеряя давление Рите, одновременно отвечал на чьи-то неотложные вопросы, увещевал, сердился, от чего каштановый хохолок, в котором уже проглядывала первая седина, смешно подпрыгивал. При всей серьезности, в нём было что-то от отважного птенца из мультфильма, она забыла какого. У него была

жена, тоже врач. Хотела бы она такого мужа для дочери? Готова ли была Дина стать женой преуспевающего и вечно занятого молодого доктора? Трудно сказать. Дина звонила нечасто, нарушая их договоренность о времени, как правило, не вовремя, выглядела устало, кажется, прибавила в весе. Очевидно обрадовалась, узнав, что у Риты отрицательный тест и вирус ушел. Рассказывала, что в Праге снова вводят карантин, работы много, больше, чем в обычном режиме, но в университетах ожидаются сокращения, преподаватели волнуются.

Дина уехала по обмену аспирантов в Чехию пять лет назад, за это время успела защититься тут и там, получить работу и гражданство. Ее пражская квартира-лофт Рите нравилась, очень удобная, хотя и захламленная. О личной жизни дочери они не говорили никогда. Рита догадывалась, что там не всё гладко. С другой стороны, сегодня у многих тридцатилетних нет особого желания связать себя браком или даже длительными отношениями, не говоря уже о детях... Позднее взросление. Как раз перед тем, как заболеть, она вела пресс-конференцию о молодежи, о затянущемся вплоть до 25 лет пубертате; кто-то из выступавших, кажется, депутат, предложил продлить его до 28. Точно, как комсомольский возраст.

Сможет ли она вести дискуссии, как прежде, живо и легко? В агентстве она считалась асом разговорного жанра: умела найти подход даже к самым придиричивым заказчикам, убедить, обаять, задать острый вопрос, пошутить и вообще выкрутиться из любого положения. Она была самой старшей, но всегда смеялась над паспортным возрастом – 56 это еще даже не пенсионный срок теперь, важно, как ты себя чувствуешь и как выглядишь. Молодые коллеги старались подражать ее стремительной походке и манере одеваться, чуть небрежно (на самом деле, тщательно продуманно): неизменный яркий шарф, пиджак известного бренда, удобные туфли или полусапожки, безукоризненная прическа, легкий, почти незаметный макияж...

В юности Рита занималась плаванием и предпочитала ходить пешком, поднималась вверх по лестнице на любой этаж. Она не успела огрузнеть и расплыться, как некоторые сверстницы. Правда, после второго неудачного краткого замужества и неприятного развода раздалась сразу на два размера – как сказал психолог, здоровая реакция на стресс, хуже, когда наоборот. Но после этого довольно быстро вернулась в форму и навсегда отказалась от алкоголя и ужинов. На фуршетах пила только воду без газа, отшучивалась, что берет пример с Фанни Ардан.

Всё это казалось теперь бесконечно далеко.

«Но уволить меня всё-таки не могут», – неожиданно вслух сказала она, сбросила одеяло, поежилась и включила ночник.

Телефон высветил сообщение по WhatsApp с незнакомого номера. Обычно Рита сразу такие удаляла. Но тут не стала.

«Рита, вы учились в одной школе с Хельгой Беркутовой, – писала некая Лада. – Не знаю, слышали ли вы ее выступление в день памяти Александра Меня. Если нет, послушайте. Зал газеты “Известия”, 1995 год».

Рита вздрогнула. Хельгу она видела во сне в первые дни болезни, они бежали по Большой Дорогомиловской улице за троллейбусом, размахивая портфелями и крича что-то водителю, но тот не слышал, и они отставали и отставали, уже выбиваясь из сил... Тогда она проснулась от собственного крика, обливаясь потом, с комом в горле... «Спасибо. Посмотрю завтра», – ответила этой Ладе автоматически.

«Можно я вам позвоню?» – отозвалась немедленно та.

«Завтра», – с досадой напечатала Рита и отключила звук.

Хрупкий сон окончательно рассыпался. Рита вздохнула и решила посмотреть присланный файл.

Хельга пела а капелла, в необычной манере, очевидно, собственную композицию, не то балладу, не то фолк-рок, высокая и худая, удивительно красивая, какая-то нездешняя. Почему ее

считали дурнушкой? Невероятные раскосые глаза, высокие скифские скулы, светлые волосы...

Жанна Бичевская! Ну да, она доставала все ее записи и пластинки, слушала целыми днями, сама пытаясь подбирать что-то на гитаре в полупустой и вечно недоубранной квартире на Каста-наевской. Из школы они шли туда пешком, пересекая Кутузовский проспект, сворачивали на улицу Олеко Дундича, поднимались на четвертый этаж длиннющей пятиэтажки и забивались в Хельгину комнату. Хельга приносила из кухни хлеб с маслом и чай, и они слушали пластинки, жевали, но больше разговаривали, разговаривали... О чём? Уже не вспомнить толком. Но точно – о невероятном, вроде кругосветного плавания или путешествия в какой-то старинный запущенный замок, где они обе превращаются в рыцарей (не в прекрасных дам, а именно в рыцарей в латах), пируют, и встречают колдунов и карликов, и планируют поход на Восток, спасти святыни и искать волшебный кубок... Это всё придумывала Хельга и рисовала фигуры воинов с их девчачьими лицами, комнаты замка, алебарды и гербы: себе в герб она выбрала красную орхидею, а Рите – белую... Да, истории этих приключений сопровождали их весь восьмой класс, пока Хельга не перешла в другую школу, она была их вдохновителем и основным автором.

К новогоднему вечеру с дискотеккой (ее провели впервые, это было важнейшим событием) Хельга с Ритой репетировали дуэт, House of the Raising Sun под аккомпанемент сборного ансамбля параллельных классов. После прогона с участием завуча петь на английском запретили, но быстро нашли русские слова и переписали афишу. С тех репетиций неперенным героем их рыцарской саги стал Федя Пухов, барабанщик. Он был белокур и голубоглаз, но интереса к девочкам не проявлял, предпочитая фарцовку виновыми дисками и сигаретами. Ни одна из историй не обходилась без него, его портрет Хельга без конца рисовала на уроках –

в тетрадке, на обложке учебников, на тыльной стороне собственной руки... Отважные рыцари Алой и Белой Орхидеи неизменно его выручали из беды, одолевая злых духов и врагов из соседнего замка, похищавших девушек из окрестных деревень, чтобы продать их в рабство. Девушек Хельга и Рита, впрочем, тоже выручали.

Рита ясно вспомнила рисунок шариковой ручкой на Хельгином предплечье: Федя Пухов, прикованный к столбу, и Хельга на коне, разрубающая его цепи. Этот рисунок случайно попался на глаза Вильгельмине Игоревне, историчке, и та закатила скандал с вызовом родителей, отец Хельги, народный артист Клим Беркутов, приходил в школу, и вся учительская выстроилась взять у него автограф.

Неведомая Лада прислала несколько записей разных лет, в основном 1990-х – сольные концерты, выступления на сборных вечерах, гастроли вместе с группой «Й». Музыка и слова писала сама Хельга. Вариации на фольклорные мотивы, баллады и очень странные композиции, не то молитвы, не то воззвания – голос невероятного диапазона, крик одинокой страдающей души, который не отпускал еще долго после того, как выступление закончилось. Фотографии: вот Хельга в кожаных ботфортах и куртке на сцене; вот – в цветочном венке на высоком берегу реки, похоже на Суздаль; вот – в просторной полотняной рубашке до пят, чуть ли не в рясе... Краткие рецензии на ее концерты. Информация о гибели двух музыкантов из группы «Й» на сплаве в Алтайском крае в конце 1990-х...

Рита начала искать информацию в сети. Не много. Заметка в центральной газете, из которой она в свое время узнала, что Хельга умерла. Подробный рассказ о том, как нетрезвого старика Клима Беркутова избил менты, которых он обматерил на улице. Негодяи бросили его на морозе умирать со сломанной челюстью и сотрясением мозга. Фотография похорон за счет театра. Краткая информация в самом конце: жена-актриса и дочь-певица

умерли за год и за два до этого. Вот репортаж из Владимирской области, где жила Хельга со своими музыкантами и друзьями и учила местных школьников пению. Не то убежище хиппи, не то становище сектантов, судя по фотографии. И заголовок соответствующий – «Обитель хаоса». Да, в Хельге всегда было что-то незавершенное, будоражаще-тревожное, темное; Рите иногда становилось с ней рядом не по себе, особенно когда она хватала Риту за руку и начинали говорить всё быстрее и раскачиваться, словно повторяя какие-то заклинания... Рита как будто снова почувствовала это пожатие и поежилась.

И не заметила, как заснула, со включенным светом, с открытым прямо на кровати ноутбуком.

В десять утра принесли продукты из «Перекрестка». Рита долго не понимала, откуда звонок в дверь, потом вскочила, пошатнулась и уже осторожнее пошла открывать, на ходу завязывая халат.

Самое муторное в продуктах из доставки – протирать всё спиртовым раствором, с самого начала эпидемии именно этот ритуал приводил Риту в бешенство. Больше, чем маска, наносящая непоправимый вред макияжу, чем даже практика пропусков для передвижения по городу, к счастью, не очень продолжительная.

Стараясь не поддаваться раздражению, Рита достала из шкафчика бутылку из-под водки, заполненную техническим семидесятипроцентным спиртом, оторвала шматок бумажного полотенца и приступила к санобработке. Кефир, творожная паста, упаковка яблок, рыбные котлеты...

У Хельги дома никогда не было еды, только хлеб и масло, каждый раз, заходя в булочную, она покупала сразу несколько батонов, Риту это удивляло. Она привыкла, что в доме всегда есть первое и второе, и в холодильнике какая-нибудь заправка вроде куска сыра, на всякий случай. Хельгины родители пропадали на съемках или в театре до позднего вечера. На день рождения дочери

Клим Иванович повез подруг в ресторан Дома актера на улице Горького, там Рита впервые попробовала грибную икру и маслины. За столик к ним подсаживались его знакомые актеры, спрашивали, кем хочет быть Рита, говорили, что у нее неплохая внешность для кино... Взрослые пили водку, и когда ехали назад на машине, их остановила автоинспекция. Клим Иванович долго что-то объяснял, потом дал записку на контрамарку. Их отпустили... Что еще было тогда? Ходили на премьеры – сидели в директорской ложе сбоку – и на спектакли, стоящие в репертуаре давно. «Сирано де Бержерак», «Судьба человека», «Волки и овцы», «Отцы и дети»... Всякий раз в театре Рита испытывало странное чувство: ей страстно хотелось раствориться в реальности спектакля, который увлекал за собой, погружая в неведомые глубины, и одновременно было страшно оторваться от реальности и ее сегодняшней, пусть простой, но понятной жизни. А Хельга в эти минуты была где-то бесконечно далеко, полностью погружаясь в иллюзорный мир, иногда крепко хватала Риту за руку, и она сидела, боясь шелохнуться, испытывая всё большее и большее неудобство.

В середине дня позвонил учредитель:

– Маргарита Петровна, свет моих очей, приветствую! Как самочувствие? Сняла наконец корону, ха-ха? Что эскулапы говорят?

– Для общества безопасна совершенно, – ответила. Манеру учредителя она терпеть не могла.

– Ну и славно. У меня к тебе просьба. Надо сделать пресс-конференцию о благоустройстве Восточного округа. Срочно.

– Это там, где хотят снести усадьбу? – не сразу сообразила Рита.

– Именно. И построить центр реабилитации для детей-инвалидов, между прочим. – Он вздохнул:

– Личная просьба мэра.

– Но ведь в новостях...

– Да, конечно, надо будет пригласить участников пикетов, Митрохина, оппозиционеров, каких хочешь. Чтобы, так сказать, и овцы, и волки... Ты же понимаешь. – Он очевидно чувствовал некоторую неловкость:

– Только ты сумеешь, ты же богиня пиара. Признанная причем профессиональным сообществом. В пятницу сумеем провести?

– В понедельник, – отрезала она.

– Но ведь сейчас только среда! – он был искренне удивлен, привык, что Рита всё решает стремительно.

– Я на реабилитации, – строго сказала Рита. – Ковид не шутит.

– Понимаю, понимаю, давай завтра к обеду пришли предварительную программу и релиз. – Он вздохнул:

– На меня наседают. Задолбали, суки... – голос его сорвался.

Потом он матерился долго и безнадежно, голос то подсакивал до фальцета, то падал и дрожал. Она молча ждала.

– Ритка, прости. Только тебе и могу поплакаться. Как сестре. Помнишь, как мы с тобой начинали? До сих пор думаю, это было лучшее время в жизни. А теперь – труха. Дети не понимают. Все погано кругом... И ковид этот гребаный... Каждый день думаю, как бы не заболеть. Ты-то уже отстрелялась, антитела... А у меня диабет и гипертония, – он снова вздохнул. – Так договорились?

– Постараюсь.

– На тебя вся надежда, – он уже успокоился, голос помолодому зазвенел. – Потом получим контракт на продвижение безопасности на дорогах России и Европы, новый проект. Санкции отдыхают! На год! Ты, естественно, разработчик стратегии и главная персона. Не эта же дура Лика, или как ее, вертихвостка... Обнимаю, обнимаю, Динке привет.

Отключился. Рита уловила слабый укол тревоги. Лика, ее помощница, вульгарная крашенная блондинка, без меры льстивая и беспринципная во всём без исключения, мечтала ее подсидеть. Тридцать пять лет. Наверняка пыталась соблазнить учредителя,

думая, идиотка, что он спит с Ритой. Иных вариантов ее убогий мозг не воспринимал. Дура. Впрочем, сейчас таких много.

С учредителем они познакомились в далекие годы перестройки, когда Рита после университета работала стажером на радиостанции «Юность», в программе «Полевая почта». Она нашла среди писем в редакцию исповедь комсорга подмосковной воинской части, обличающего командиров, использующих солдат-срочников в личных целях вроде строительства бани или отгрузки ворованных стройматериалов. Парня нашли, пригласили в студию, об истории писали в «Огоньке», бузотера хотели было засудить, но в результате он вышел победителем, даже стал муниципальным депутатом. Потом работал в правительстве Москвы, но вовремя, до перетасовок, ушел и после череды в меру ответственных, но безопасных позиций основал пару неброских стабильно успешных бизнесов, в том числе небольшое пиар-агентство. В кризис 2008-го, когда Рита оказалась без работы, в долгах, обманутая бывшем мужем, она встретила его на какой-то тусовке и не задумываясь приняла предложение пойти в ту самую контору, которую со временем и возглавила. Наверняка учредитель имел связи не только с властями города и силовиками, но и с криминалом, однако никаких сомнительных с точки зрения закона заказов не давал и ценил Ритино умение разрулить конфликт интересов и придать интеллигентный шарм всем мероприятиям.

Журналистская карьера у нее не сложилась. Писать было трудно всегда, зато получалось задавать в прямом эфире интересные вопросы, поворачивать живую дискуссию в неожиданное русло – это ценили и участники разговора, и слушатели. Но вместе с новым руководством в редакцию пришли новые люди, и ее программу сократили. В пиар-агентстве она нашла себя. Наладились отношения с дочерью, удалось отдать долги, даже поменять машину и обустроить новую квартиру. Непродолжительные романы поддерживали в тонусе, льстили самолюбию, но не занимали

существенного места в ее жизни, она давно поняла, что залог благополучия – спокойствие и душевное равновесие. Учредитель доверял ей и подчас давал довольно деликатные поручения, которые она блестяще выполняла, не рискуя репутацией компании, в которой ввела режим просвещенной монархии: ничего не предпринималось без ее решения. Вирус нарушил всё, и вынужденное отсутствие неизбежно влекло какие-то неприятные последствия. Временами даже во время жара она думала об этом, но воспаленное сознание тормозило неприятные мысли и погружало в забытие.

Ли́ка. Учредитель неслучайно о Лике напомнил, наверняка, она что-то задумала в это время, надо будет разобраться. С этой мыслью она провалилась в сон.

Лада позвонила в половине первого ночи:

– Вы послушали? – голос ее звучал глухо.

– Да, спасибо. Я не знала, что у нее была группа. Странное название. И вообще давно ее потеряла. Хотя столько раз думала найти. О том, что умерла, узнала из газет. Когда хоронили Клима Ивановича... Она очень талантливая была.

– Вы любили ее?

– Что? – Рита опешила. – Не знаю. Наверное. Мы были лучшими подругами в восьмом классе. После школы ходили к ней домой, иногда ко мне, но к ней – чаще, на Кастанаевскую, полчасика или больше. У меня потом не было такой близкой подруги.

– Не доверяли другим?

– Даже не знаю. Так получилось.

– А теперь у вас есть подруга?

– Нет. Была одна, она у меня увела мужа. Давно. А потом они разбились на машине.

Лада ответила не сразу, в трубке шелестело, как будто она пыталась что-то отодвинуть.

– Сегодня у нее день рождения.

– Надо же. Я как раз вспоминала ее день рождения, мы ходили с ресторан в Дом актера. Старый, на улице Горького, которой тоже уже нет. Нас пригласил Клим Иванович.

– Весело было? – откликнулась Лада

– Кажется. Подходили артисты, водку пили.

В трубке снова зашелестело.

– Она любила вас. Она говорила, – Лада почти шептала.

– Правда? Мне на самом деле совестно, что я ее потеряла. Она ушла после восьмого класса, кажется, в школу рабочей молодежи. Не помню. Потом мы виделись мельком, она снималась в фильме и пригласила меня на премьеру, но я смогла прийти только на банкет. Она была рада, но очень занята – люди, мы мало поговорили. И потом я снова ее потеряла...

– Фильм назывался «Прости меня, Никита».

– Да, точно, и главную роль играл Федя Пухов, у них по сценарию был ребенок. У Хельги остались дети?

– Нет, – Лада закашлялась.

– Мы вместе с Хельгой пели в школьном ансамбле. Федя был барабанщиком, а мы обе – в него влюблены. Тайно. Пели «Дом восходящего солнца» на первой дискотеке в школе. На русском.

Кашель в трубке.

– Представляли, что Федя вдруг попадет в беду, и надо будет его спасти, и тут мы... Доспехи, погони, и мы – рыцари, побеждающие врагов, это Хельга придумывала... Совсем как героиня из фильма Wonderwoman.

– В самом деле? Похожие на нее? На царицу амазонок? – оживилась Лада, и снова задохнулась в кашле.

– Точно, точно. Очень похоже. Правда, странно, что мы так давно это всё придумали? Как будто всё ради этого Феде...

– Ей не нравились мужчины, – задыхаясь, прошипела Лада. – Я вам позвоню завтра.

И отключилась.

Весь следующий день Рита искала телефоны протестующих, созванивалась и убеждала прийти на пресс-конференцию, хотя бы виртуально. Как ни удивительно, многие готовы были прийти лично, не опасаясь эпидемии. Она перетасовывала список участников, лежа в постели, временами забываясь сном, и чувствовала, что силы понемногу, пусть и медленно, прибывают.

В полночь проснулась, уже ожидая звонка, сама, за минуту до сигнала.

– Она мне сказала, что вы – карьеристка, – Лада снова начала разговор без приветствий и других вводных.

– Точно, она мне так и сказала, когда я опоздала на премьеру фильма, – вспомнила Рита, – я тогда опоздала, потому что была на собрании «Мемориала», надо было подготовить передачу...

– Но вы наполовину настоящая. И она вас любила. Почему?

– Не знаю. Я ни с кем никогда больше так не дружила.

– У вас есть муж?

– Было два. Один умер, другой обманул и обобрал. И погиб потом. А дочка далеко. Звонит редко. Но она хорошая.

– Покажите себя. Включите видео, – попросила Лада.

– Нет. Не хочу. Я болела ковидом. Совсем недавно. – Рита вдруг представила себя в постели, всклокоченную, и поморщилась.

– Знаю.

– Откуда? Откуда у вас вообще мой телефон?

– У вас на работе дали. Ваша коллега, кажется, Лика. Я сказала, мне нужно с вами поделиться важной информацией о редких болезнях. Не бойтесь, я очень долго ее уговаривала. Я видела вашу пресс-конференцию об орфанных болезнях еще весной, и вы тогда сказали девушке, которая умирала без лекарств, что пока есть люди, которым не всё равно, есть надежда. Я видела ваши глаза. Вы по-настоящему верили.

– Да, девушке удалось тогда помочь, – вспомнила Рита.

– Я хотела бы об этом рассказать Хельге. Ей было бы приятно. Она следила за вами, когда вы работали, кажется, на радио, слушала передачи.

– Но почему она ни разу не позвонила? – воскликнула Рита. – Может быть, тогда получилось бы...

– Мы с ней вместе хотели уйти, – перебила Лада, – навсегда. Она успела, а меня откачали. Жаль. У меня БАС, слышали о таком?

– Что-что?

– Боковой амиотрофический склероз. Это когда постепенно отмирают все нервы – руки, ноги, позвоночник... Последним умирает дыхательный нерв. И всё. У меня осталась левая рука. Неудобно, но могу нажимать на телефон. Скоро рука перестанет двигаться, останется только дыхание. Так здорово, когда можно дышать, я никогда раньше не понимала... В полночь говорить легче, – она закашлялась. – Я родилась в полночь, видимо, в это время и умру.

– Но, может быть...

– Это не лечится. Даже если бы и не эпидемия, всё равно. Ничего сделать нельзя. Не беспокойтесь, прошу вас. За мной тут ухаживают, следят. Колют лекарства, кормят, социальный работник приходит, сёстры из хосписа. Осталось не много. Я хотела с вами поговорить, перед тем. Хельга вас любила. Она была для меня всем.

И отключилась.

Главный организатор протестов, молодой архитектор заболел ковидом, тяжело. Рита умоляла его лечь в больницу, договорилась через Германа с врачами из «Коммунарки», но тот отказывался, говорил, только после онлайн-трансляции. Архитектора поддерживала жена, студентка. Наверное, из-за нее не хотел в больницу, храбрился. Рита обливалась потом, но превозмогала слабость и головную боль, подготовила пресс-релиз, лично обзвонила знакомых репортеров центральных газет и прогрессив-

ных сайтов. Решено было, что она придет в офис, и будет вести разговор оттуда. Всё это время в голове крутилась какая-то неясная мысль, постоянно ускользающая всякий раз, как только Рита решала ее додумать. Ковид, конечно, рассеянность внимания... Ничего, пройдет.

Она привела в порядок «счастливый костюм», в котором вела самые удачные диалоги, долго выбирала косметику, призванную скрыть постковидную бледность, осталась недовольна, и отправилась – впервые за три недели – в ближайший торговый центр за недостающим, облачившись в маску и перчатки еще в прихожей. Получасовой выход дался нелегко, в висках стучало, перед глазами прыгали яркие пятна. Она легла на кровать в одежде, без сил, почти теряя сознание. Может быть, ну ее, пресс-конференцию? Но, медленно и мучительно приходя в себя, она понимала, что точно проведет эту встречу, даже если после этого снова будет лежать полмесяца.

Ночью она видела во сне маму, она улыбалась и гладила Риту по голове, успокаивая.

Лада позвонила только через день, снова после полуночи.

– Спойте мне, – попросила она, голос ее был явно слабее, чем в прошлый раз, – про дом восходящего солнца.

Рита напряглась. Она толком не помнила слов, ни русских, ни английских. Но всё-таки сделала усилие и постаралась спеть, угадывая, что Лада на другом конце трубки пытается подпевать, сквозь лающий кашель.

– Хорошая песня. Спасибо. Не сердитесь. Вы единственный мне по-настоящему близкий человек, хотя меня совершенно не знаете. Если я не буду вам звонить, значит, меня увезли в хоспис, и уже не могу разговаривать. Хельга говорила о вас. Правда, она вас всё время помнила. Я даже думала, что вы в школе... – голос ее оборвался.

– Лада, Лада, где вы находитесь? – Рита вскочила и заметалась по комнате. – Дайте адрес, я вызову «скорую», я сама приеду! Лада, не уходите!

Лада отозвалась примерно через минуту.

– Она крестилась, уже когда мы жили вместе. Ей священник сказал, что она должна перестать иметь личные отношения с женщиной, если хочет быть христианкой. И она приняла обет безбрачия. Вы представляете, каково это было?

И тут ее прорвало. Задыхаясь от кашля, она рассказывала об их с Хельгой знакомстве после концерта в Филях. По паспорту Лада была Саида Ахметова, ингушка, за лесбийские наклонности ее хотели убить братья и муж, за которого выдали в 16 лет насильно; она сбежала в Москву, работала уборщицей в парикмахерской эконом-класса, потом, после встречи на концерте, убирала у Хельги и родителей, сама напросилась. На Кастанаевской в то время уже жил Федя, пытавшийся сделать карьеру каскадера; он пил, бил Хельгу, гулял и в конце концов погиб при выполнении очередного трюка. Хельга хотела выброситься из окна, Лада ее сняла с подоконника. Потом они жили в Суздале, в доме ее родителей, пока не случился пожар, потом – в съемной избе, такая коммуна фолк-рэперов. После гибели музыкантов на Алтае сблизилась с местной лесбийской тусовкой, но не нашли понимания, как в свое время Хельга не нашла понимания в московском театре. Лада вела хозяйство, куры, коровы, вместе учили детей пению. Хельга пела в церковном хоре. Записи и выступления денег практически не приносили. Пили. Покончить с собой Хельга пыталась неоднократно. Хотя и грех. Вместе с Ладой решили напиться коньяку с психотропными. Ладю откачали. БАС у нее к тому времени уже прогрессировал.

Рита слушала, обливаясь слезами, лишь изредка откликаясь.

– Спасибо вам, – закончила почти шепотом Лада. – Вы – настоящая. Я вас люблю. А вы? Вы меня любите?

– Да, да, да, – начала Рита, но в отчет раздавались только короткие гудки.

На следующий день умер молодой архитектор, отказавшийся лечь в больницу. Протестующие выстроились в одиночные пикеты у обреченной усадьбы и у префектуры округа. Их начали задерживать. Учредитель собирался отменить пресс-конференцию, но журналисты уже подтвердили участие, прошли сюжеты в ленте новостей, вдова-студентка выступила в ютьюбе с воззванием стоять до победного конца.

Рита проклинала себя за то, что согласилась, что вообще заварила эту кашу, она чувствовала, что мерзостный ковид еще полностью не отпустил и ее сил не хватит на то, чтобы сделать задуманное...

После обеда позвонила Дина и рассказала, как взялась вести новый семинар – социология протестов в Европе в период пандемии. Нужен российский материал. Осудила Ритину вылазку за косметикой – впрочем, она никогда не понимала в ней толку и сама не красилась, как и ее подруги, что в Праге, что в Москве. Правда, заволновалась искренне, и это было приятно. Не такая она на самом деле равнодушная...

Рита обрадовалась, что может помочь дочери, полдня тщательно подбирала материал для нового курса. Это немного отвлекло от мыслей о завтрашнем событии.

Вечером забежал молодой врач Герман, принес какие-то импортные витамины, послушал легкие, выпил кофе на бегу. Заметил выглаженный деловой костюм, всё понял, покачал головой.

– Может, еще рановато? По скайпу никак? Или в зуме?

– Нет, – ответила Рита. – Я должна пойти сама. Знаете, я решила уйти из агентства. – Она неожиданно сформулировала то, о чём не решалась сказать сама себе.

– И хорошо, – вдруг обрадовался Герман. – Тогда идите точно. Ковид, вы знаете... – но тут ему снова позвонили, он заволновался, оставил уже надкусанную конфету в фантике и побежал куда-то.

Рита вдруг успокоилась.

Засыпая, она положила телефон рядом, на случай если позвонит Лада. Но она не звонила.

Пресс-конференцию она начала с минуты молчания в память о погибших от ковида и других тяжелых болезней в эти дни. Она не помнила, что именно говорила. Позже, лежа дома со льдом на раскалывающихся от боли висках, слышала сообщения на автоответчике: возбужденный голос учредителя, восторженные слова Лики, благодарность вдовы и пикетчиков, звонки репортеров, которые просили уточнения, кто-то включил официальное сообщение о том, что префектура изменила решение и теперь рассматривает стройку реабилитационного центра в другом месте.

Лада не позвонила ни в понедельник, ни во вторник. Ни позже.

Через несколько дней Рита принесла из багетной мастерской обрамленную фотографию юной Хельги в цветочном венке и, чуть поколебавшись, поставила на секретер рядом с портретами мамы и дочери. В агентстве не поняли, почему она решила уволиться в самый разгар эпидемии, тем более когда сама наконец удачно одолела вирус. А Рита передавала дела ошалевшей Лике и думала, что ей никогда не было так легко и просто, как сейчас. Начиналась новая жизнь – какая, она не знала сама.

Всё обойдётся

Из общего нашего детства отчетливо помню одно: мы лежим, распластавшись, на холодной московской крыше и смотрим, как появляются звезды. Внизу, на Покровке, фыркают машины и тонко пахнет черемухой, жёсть леденит лопатки, а над нами – фиолетовое, темнеющее с каждой минутой небо, на котором проступают сначала едва заметные, но всё ярче, ближе и неизбежнее – они. Хрупкий свет их пронизывает тонкими острыми лучами всё: время, пространство, затихающий город и нас двоих насквозь, до последней косточки. Мы говорим о чём-то и разом смолкаем – вот одна звезда медленно отделилась от стаи, покачнулась и ринулась вниз.

Найка шепчет:

Что если, вздохнув нечаянно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

Вот в чём дело! У них, оказывается, есть острые булавки, на которые мы все пришпилены, как бабочки в коллекции, и никуда не деться, как ни дрыгай руками и ногами. Страшно и жутко одновременно от понимания этой обреченности.

Вдруг она садится.

– Кажется, у меня снова началось.

Я не понимаю.

– Ну, месячные. Менс. У тебя еще нет, что ли? Фу, платье опять испачкала, Димка снова орать будет.

Она встает на четвереньки – иначе упадешь: платье в пятнах на заднице, и по ногам ползут струйки крови. Я нахожу грязный носовой платок (у меня хронический насморк), помогаю ей вытереть кое-как ноги, и мы ползем по крыше к чердачному окну, потом – по щербатым ступенькам в крошечной темноте – в подъезд, в необъятную коммуналку с дюжиной непривычных и одуряющих, мешающихся все в один, запахов, где моя двоюродная тетка с подругами празднует приближение Дня Победы. Я первый раз вижу, как пьют неразбавленный спирт и пляшут вприсядку под матерные частушки. Подруг всего трое – моя тетка в модном вязаном костюме из «Березки» и кроссовках (ее муж – работник Совмина в Минске, она самая обеспеченная из всей родни, а муж сам не воевал, он на двенадцать лет моложе и страшно ее боится), тощая некрасивая Татьяна (никогда не была замужем и ненавидит мужчин) и необъятная Ольга в перелицованном сарафане (похоронила недавно третьего спутника жизни, расписана никогда ни с кем не была). Все они артиллеристки и в канун праздника непременно собираются здесь, у Ольги, поют, обнявшись («Артиллеристы! Точный дан приказ. Артиллеристы! Зовет отчизна нас! За слёзы наших матерей, за Сталина...»), пьют за упокой погибших и над чем-то весело смеются.

Платье застирано, собраны окурки папирос, стихают нетрезвые объятия, до Курского можно пешком, но тетка ловит частника и везет нас к электричке. Шофер оказывается тоже фронтовик, тоже с Белорусского фронта, они вспоминают фамилии генералов, тетка дает ему трешку, и он долго благодарит и поздравляет с наступающим.

Почему Найка поехала тогда со мной в Москву? Может быть, за гомеопатическими шариками для матери, Диамары Ильиничны, – говорили, от ее болезни шарики помогают лучше всего. Успела ли Найка их купить? Я так и не спросила до сих пор.

Вообще, нельзя сказать, чтобы в детстве мы дружили, просто ходили иногда вместе в поселковую школу – Найка появлялась из

своего Тургеневского тупика возле самого леса, я присоединялась к ней на проспекте Ленина, разделенном широким естественным парком, где вечерами в кустах собиралась поселковая шпана, а зимой вся школа носилась на лыжах. Найка почти на два года старше (по школе – только на класс), но в ту пору – огромная разница, почти пропасть. У меня другие подруги, одноклассницы, внучки бабушкиных знакомых – «коммунистов» (бабушка – бывший парторг в поселке), но почему-то всегда тянуло к Найке – маленькой, смуглой, с широко расставленными галочьими глазами. Бабушка не одобряла: семья неблагополучная, мать-одиночка, беспартийная и вообще «психическая» – вся улица собиралась, когда она падала вместе с наполненным ведром у водопроводной колонки и билась на песке, трое мужиков не могли ее унять, пока не прибежала Найка, вставила ей в рот какую-то палочку и тихо увела домой. Однажды ее вообще увезли на «скорой» в больницу, Найку едва не отдали в детский дом, но (надо сказать, тут бабушка постаралась) откуда-то вызвали её двоюродную сестру Илону. Мать Найки и ее сестру родители называли по-революционному: Диамарой (в честь передового учения) и Лорой (сокращенно – Ленин освободил рабочих), а те своих дочерей нарекли Нозми и Илоной. Илона эта потом навела шороху в поселке – к ней стал приезжать однокурсник-араб, а в поселок иностранцам доступ был запрещен (рядом – военный городок, то ли ракетная установка, то ли пульт слежения за вражескими подлодками, во всяком случае, военных различали на моряков и сухопутных).

Статный Абдулла приезжал под видом грузинского гостя в огромной кепке-аэродроме, впрочем, соседи настучали куда надо, в Тургеневский тупик нагрянули двое милиционеров и человек в штатском на автомобиле с мигалкой, Илону увезли, но ненадолго; кажется, из училища ей пришлось уйти – а за Абдуллу она вышла-таки замуж, уже через несколько лет приезжала с двумя

кудрявыми ангелоподобными малышами, с толстой задницей и звякающими тяжелыми цепями на шее, запястьях и даже щиколотках.

С Найкой мы обычно кружили по парку, она рассказывала новости – знала всё: кто в поселке разводится, чей муж отправлен в ЛТП, с какой улицы девчонку зажали на «запретке» у воинской части солдаты, но не тронули, заставили их облизывать. Разговоры ее почти всегда касались тайной жизни тела, о которой не принято было говорить ни дома, ни в школе, словом, сильных чувств – любви, ненависти, ревности, которые раздирали, оказывается, всех окружающих нас самых обычных людей. Иногда она читала наизусть непонятные стихи:

Твоим узким плечам
Под бичами алеть.
Под бичами алеть,
На морозе гореть.
Твоим детским ногам –
По стеклу босиком.
По стеклу босиком,
Да кровавым песком...

Стихи она выучивала из затрепанной материнской тетрадки, которая хранилась у нее в доме на единственной книжной полке. Книг мало, но все странные: Библия с гравюрами, «Чтец-декламатор», Блок. Диамара Ильинична когда-то мечтала стать актрисой (говорят, ее сестра Лора в результате вышла замуж за конференсье в провинциальной филармонии), всё время, сколько я помнила, она работала библиотекарем в нашем клубе и нередко подрабатывала, замещая в очередной раз загулявшую уборщицу в школе. У нас дома (огромный, недостроенный, мрачный) совсем другие книги в шкафу: полное собрание сочинений Горького, Льва Толстого, полный Ленин, которого бабушка конспектирова-

ла к очередному партсобранию вместе со статьями из местной газеты «Знамя коммунизма» и журнала «Политическое самообразование», сочиненные политинформации она читала вслух парализованному дедушке, не покидающему своего кресла у окна.

Когда (нечасто, раза два в год) приезжали родители, дом наполнялся их друзьями, звоном хрусталя из запертого буфета, песнями под гитару о далекой романтике и долгим тяжелым застольем, мама иногда уводила меня в нашу комнату и перечитывала вслух «Три товарища», которые возила с собой во все их невысказанные геологические партии и комсомольские стройки. Я пересказывала Найке Ремарка, и мы мечтали о будущем, она – о невероятной любви («Это когда не только хочешь отдать за него жизнь, но и не можешь этого не сделать, когда умираешь и рождаешься каждую секунду»), я – о счастливой семье. У обеих нас такой не было.

Отца своего Найка не видела никогда (говорят, он был циркач, глотал шпаги и огненные факелы и был страшно красив). Я тоже тосковала по родителям, сколько себя помню. Когда мне исполнилось три месяца, мама поехала за отцом на стройку города Мирного в Якутию, а я чуть не умерла от воспаления легких, от чего остался и насморк, и склонность к простудам и ангинам, и почему переезды и кочевая жизнь мне были строго противопоказаны. Мама любила отца беззаветно: когда тот говорил, она смотрела на него с восторженным обожанием и не уставала рассказывать всем подряд о том, какой он талантливый и редкий человек. Так же она смотрит на него с одной из немногих фотографий, где мы втроем – у Царь-пушки, меня поставили на ядро, а они в обнимку рядом. Отец большой, красивый и сильный, даже когда мне было уже тринадцать, брал меня на руки и говорил – моя дочка, моя кровь – и при этом призывал окружающих выпить за мои косы и мои глаза. Страшное потрясение, которое отравило несколько детских лет: я просыпаюсь от непонятного шума –

отец душит мать подушкой и повторяет: «Ты мне скажешь, сука, наконец, чей это ребенок?» Я ору, они вскакивают с постели и забирают к себе, я делаю вид, что сплю, но трясусь до утра от ужаса и горя. Впрочем, больше никогда их скандалов я не видела – даже потом, когда мы жили вместе в Москве.

У мамы были две мечты: когда-нибудь съездить в Париж и получить квартиру в Москве. Последнее время я всё чаще вспоминаю поселок, нашу скудную жизнь (как я понимаю, родители присылали не слишком много денег), бабушку, непременно с накрашенными губами и гордо поднятой головой, влачащую меня за руку то на сход ветеранов, то на проверку выполнения инструкции исполкома о покраске заборов в зеленый цвет (владельцев синих и желтых заставляли перекрашивать), то на концерт в честь Первого Мая. Понимаю теперь, как ей было нелегко – с парализованным мужем, худосочной внучкой, недостроенным огромным домом (мечта всей их с дедушкой жизни в далеком шахтерском поселке, откуда они, после ударной тридцатилетней вахты, приехали в Подмосковье), буйными соседями и мотающейся по стране дочерью. Впрочем, маму бабушка никогда не осуждала и называла тургеневской девушкой.

Вспоминаю канувшие в прошлое лица, детали, краски и запахи, о которых, кажется, уже давно забыла и в которых, мне кажется сегодня, кроется какой-то тайный смысл, скрепа и связь событий последующей жизни, ее неудач и потерь, и силюсь понять, что же получилось не так и можно ли еще что-то исправить. Долгими вечерами, пока дочки нет (интернет-клуб закрывается в одиннадцать, оттуда еще полчаса на метро – разве можно позволять подросткам так долго сидеть у компьютера?), пока никто не приходит и не звонит, я перебираю осколки прошлого, как драгоценные камни, и удивляюсь тому, как немного на самом деле в нашей судьбе зависит от собственной нашей воли, устремлений и надежд. И думаю о том, что одной из этих скреп и знаков судьбы, в которой я не сомневаюсь, была именно Найка.

Когда мне было шестнадцать лет, родители вернулись с Севера и построили кооператив. Их северных денег хватило только на однокомнатную квартиру (много прогуляли, констатировала бабушка), правда, в самом центре, у метро «Студенческая», недалеко от престижного Кутузовского проспекта, по которому проносились правительственные кортежи. После просторного поселкового дома всё казалось тесным и неудобным, мне выделили кровать за шторой, уроки (десятый класс, аттестат) я делала в совмещенном санузле по ночам, устроившись на крышке унитаза и разложив учебники на тумбочке для белья. Новая школа, новые друзья, стыд за нашу тесноту перед одноклассниками – обитателями сталинских огромных квартир, неловкость оттого, что незнакома с московской жизнью, строгость новых учителей... В энергетический институт я решила поступать просто потому, что моя единственная близкая приятельница (кстати, тоже не коренная москвичка, так же комплексовавшая, что, наверное, нас и сблизило) собиралась именно туда. С соседом этой приятельницы я стала встречаться года через два. Он был красивый и сильный, чем-то напоминал моего отца, каким его помнила в детстве, за ним бегали девчонки. Не знаю сейчас, насколько сильно я его любила – наверное, я придумала эту любовь, но он принял ее как данность, и мы стали встречаться едва ли не каждый день. По утрам я ехала к нему на «Коломенскую», захватив сумку с продуктами, купленными по дороге, вспоминая маму, готовила и красиво накрывала на стол, потом мы ложились в родительскую кровать, предварительно сменив простыни, и уже после полудня, уставшие, ехали в свои институты на последние лекции. Потом мы созванивались вечером, если он уходил куда-нибудь с друзьями, я страшно нервничала, и он привык мне звонить, что бы ни случилось, в любое время. Родители также осваивались тем временем в Москве, потом отец начал ездить в командировки один, и мама плакала, его провожая.

На первый аборт меня тоже провожала мама – она и нашла врача и говорила, что самое главное – хороший укол, и потом ничего не помнишь, а после важно месяц не жить с мужчиной и для безопасности пользоваться таблеткой аспирина или борной кислотой, правда, помогает не всегда (ну и намучилась я потом с этим аспирином!). Сама она сделала два аборта до меня и неизвестно сколько после – ничего не поделаешь, отец считал, что одного ребенка достаточно, да и как быть, когда такая жизнь.

Она оказалась права – после укола (пятьдесят рублей – надежная гарантия) я проснулась в палате, где женщины рассказывали о себе, о других, пугали и успокаивали друг друга одновременно. Когда я вернулась домой, меня ждал будущий муж – именно тогда он предложил пожениться, хотя зарегистрировались мы только через год.

Вскоре совсем неожиданно – на улице – я встретила Найку. Она была бледная, грустная и сказала, что ищет врача, нужно срочно сделать аборт. Виновником оказался Абдулла, который долго к ней приставал, пока Илоны не было дома, а потом изнасиловал. Надо, сказала Найка, сделать аборт тихо и быстро, потому что времени почти не осталось, и чтобы не знал ни муж (оказывается, она была замужем и жила почти рядом со мной), ни Илона. Идти в женскую консультацию исключено, там побреют, а врачей в Москве у нее нет. В тот же день мы пришли на прием к тому самому врачу, который делал мне укол. В больнице была другая смена, и он оприходовал ее прямо в кабинете женской консультации (ко всеобщему ужасу, наркоз на нее подействовал слишком сильно, и она не просыпалась целых два часа, и пациентки ломались в дверь, слабо мной успокоенные). Наконец Найка вышла. Зрачки ее были огромны, движения замедленны, но она была счастлива. Свадьбу свою помню плохо, я была опять беременна, пока родственники пили за наше счастье, я бегала в туалет блевать и всё время боялась, что потеряю обручальное

кольцо, которое было мне велико. Через месяц мы уезжали с мужем в Чехословакию, мама была счастлива («Прага – это маленький Париж, я читала»), отец ухаживал за моими подружками, но она этого даже не замечала. Отец сильно сдал, растолстел, у него болело сердце, но застолье по-прежнему было его стихией, и он радовался поводу.

Второй аборт был намного хуже первого – пропустили сроки, случились осложнения, и я была слишком слабой, когда мы наконец уехали.

Всё замужество прошло, как странный сон. Советская колония в Праге, слезка и недоброежелательность жен, рождение дочери (конечно, в Москве), нехватка денег, к которой я не привыкла, формальные встречи. Однажды в русском книжном магазине я купила томик стихов Мандельштама. Много дней подряд, пока муж работал, я, стирая, пеленая и сотворяя вкусную еду из дешевых продуктов, повторяла знакомые и незнакомые строчки и вспоминала Найку.

Пока мы сидели в Праге, разбился на вертолете под Нерюнгри мой отец.

Мы вернулись в Москву в 1991-м, летом. Магазины зияли пустотой, разительной после Праги, телевизор говорил непонятное. Мы с дочкой едва не стали жертвами августовских событий – наивно пошли в зоопарк, когда на улицы выползли танки. Помню Ельцина на открытой машине на Калининском мосту, помню крики толпы «Россия, Россия!», помню, как мы бежали к Садовому. Недавно услышала, как дочь рассказывает кому-то по телефону, что «возле ее уха пролетела пуля». Новая мифология, неведомое сознание. Москвой стали править деньги. Я видела это по знакомым мужа. Среди них были те, у кого деньги есть, и те, у кого их нет. У нас денег не было. Он начал бизнес – один, потом другой, всё неудачно. Мы всё меньше понимали друг друга. Однажды он упрекнул: «Ты меня ничему не научила».

После возвращения он начал пить. Не приходил домой по нескольку дней. Когда я застала его с другой женщиной, решила развестись. Мама, бабушка, считавшие, что семью нужно сохранить, отговаривали. Но было нечего хранить, я это понимала. Долгий процесс закончился уникально: в нашей с мужем квартире прописана его новая жена, «газовая женщина» из Ханты-Мансийска, старше его на десять лет. Они снимают большие апартаменты в центре, а я с дочкой остаюсь здесь. Родительскую квартиру я сдаю, и слава богу, есть на что жить.

Это случилось уже после смерти мамы.

Мне позвонила Найка и пришла с бутылкой кальвадоса. И рассказала свою жизнь. Она, разведясь с первым мужем, влюбилась и поехала за любимым в Афганистан, в армию. Их бомбили свои, он погиб у нее на руках, несколько суток не давали самолет. Ее ранило, и у нее никогда не будет детей. Найка сказала: пойдём на крышу. Крыши не было, но был козырек над магазином, над которым как раз мои окна, – и мы вылезли на козырек. Над нами в задымленном небе проступали звёзды.

– Знаешь, – сказала она – они нас видят. Твоя мама и мой Серёжа, точно. Давай их не обижать.

И мы чокнулись кальвадосом.

Найка изменила мою жизнь. Я хожу на собрания в поддержку больных СПИДом и детей-инвалидов, помогаю ей собирать группу по поддержке детей Чечни и организации досуга беженцев и безногих афганцев. Найка страшно активна, и я рада ей помочь.

Однажды она привела ко мне Левушку, художника с Арбата и старого своего любовника. «Есть две вещи, достойные изумления, – так сказал он свой первый тост, – звездное небо над головой и внутренний мир внутри нас».

Левушка остался, и я удивилась тому, что я – женщина и готова желать и быть желанной. Он стал оставаться у меня всё чаще и получил ключ.

Однажды я долго не могла открыть дверь. Через некоторое время на пороге возникла совершенно голая Найка. Я не испытала ни ревности, ни обиды. Напротив, мы как будто стали еще ближе. И потом мы сидели втроем, смеялись и пили кальвадос и говорили о том, как нам хорошо вместе. Три товарища, лица уходящей эпохи.

Я живу теперь точно по расписанию. В восемь тридцать отправляюсь на работу – я служу в библиотеке имени А. Толстого, где я когда-то брала литературу к экзаменам, распоряджаюсь каталогом и выдаю читательские абонементы. Денег никаких, но мне нравится быть полезной тем, кто сюда приходит, к тому же иногда есть время почитать. После работы я еду в свою Тмутаракань (родительская квартира кормит нас по-прежнему), сажусь на кухне у окна и жду звонка Найки. Она непременно скоро придет...

– Найка, не страшно стареть?

– Да что ты, посмотри на американцев, у них вся жизнь начинается после пенсии. Женятся, путешествуют. Не хочешь крепенького американца?

– Да ну тебя.

– Напрасно, у них виагра – и всё в порядке.

– А душа?

– Душа, дорогая, только у нас.

Левушка нас не покинул, он живет то у нее, то у меня – жить-то ему негде, бедолаге, а нам он не в тягость, и жаль его. У нас своя жизнь, не зависящая ни от него, ни от кого-то еще. Мы с Найкой сидим на кухне, пьем кальвадос, смеемся и плачем, читаем стихи и верим, что всё лучшее у нас впереди, непременно впереди. Ничто не нарушит нашей связи, нашей дружбы. И страшно подумать, что мы могли бы не найти друг друга в шуме и суете прожитых лет. Я верю, что это – тоже судьба.

Дай Бог нам дожить до лучших дней.

Миша Гринин

«Красный... Оранжевый... Желтый... Наконец, ты вся в солнечном свете, вся, волосы, ногти, кожа, селезенка, почки, трахеи, – ты светишься солнцем, ты в покое, ты в гармонии с миром... И эллипс, фиолетовый эллипс, тонкий и непроницаемый, ты внутри, он хранит твой солнечный свет, он защищает тебя от космических излучений и агрессии, никто не может поколебать твоего спокойствия, никогда... Ты справишься со всем... Примешь правильные решения. Ты всё сможешь...»

Ника повторяла мысленно заклинания Лены, подруги детства и цветотерапевта автоматически, в ушах звучал ровный Ленкин голос, ее интонации, и привычное тепло начинало разливаться по капиллярам. Это упражнение она делала регулярно, иногда несколько раз на дню, веря в его спасительность, как в таблетку амигренина, десять минут – и ты в форме. Сколько раз оно выручало – и когда партнеры нарушали обещания, и когда на совете директоров ее неожиданно хотели уволить, и когда обрушился доллар и ее компания практически разорилась, и когда из-за санкций снова едва не пришлось закрыть бизнес. Спокойствие и умение держать удар, отрешенность от эмоций и способность выбрать правильную стратегию – результат психологического тренинга, контроля над нервными окончаниями. Ленка – гений, она умела, как никто, настроить на нужную волну, незаметно подвести к единственно верному выводу, придать уверенности. Сколько достойных коллег пали жертвами собственной торопливости и невроза, разрушили свое дело, свои семьи, здоровье. Сколько выскочек ушли в финансовое небытие. Всё – из-за высокомерного невнимания к простым вещам, к контролю за собст-

венными проявлениями, из-за презрения к незаметному, но незаменимому труду терапевтов... Судьба хранила Нику, случайно на вернисаже народного творчества, куда и идти-то не собиралась, столкнув снова с давней подругой, которую потеряла из виду еще в школе, переехав в другой район. И Ленку не узнала, конечно – столько лет прошло! Но та сама к ней подошла. И с тех пор они вот уже несколько лет встречаются регулярно, и все новые веяния в терапии, все наработки мировой психологической науки, которые Ленка фанатично осваивала, срываясь на дорогостоящие семинары во всех краях света, были опробованы и взяты на вооружение. Виват, Лена Проскурина! Ника не оставалась в долгу, рекомендовала подругу близким знакомым и лучшим партнерам, и круг Ленкиных клиентов стабильно пополнялся за счет их родственников, бывших и актуальных, приятелей и сотрудников. Как вообще раньше жили без терапевтов? Особенно в советское время, когда практика бесед со священниками не существовала?

Ника аккуратно закрыла за собой дверь медицинского центра. Прямо под ноги ей упал желтый кленовый лист. Она глубоко вдохнула сентябрьский воздух. Осень! И вдруг решила не вызывать машину, а пройтись дворами до Кутузовского.

«Лиловый эллипс защищает тебя, как вера защищает ковчег Завета, как яйцо – иглу, она же душа Кашея, невидимая другим лиловая скорлупа крепкая, как обшивка космического корабля, лиловый цвет – врата кармы мудрости и вечности, тебе всё будет фиолетово, ты тотально, навечно защищена, никто не сможет поколебать твоего спокойствия...»

Ника свернула вглубь двора, очертания пятиэтажек показались ей смутно знакомыми, но непонятно, что именно напоминали, бог с ними, и она бодро зашагала по асфальту, усыпанному разноцветными листьями.

И вдруг остановилась, почти задохнувшись от ужаса. В висках стучало. «У меня никогда не будет дочки», – прошептала она.

Медицинский центр у метро Студенческая порекомендовал знакомый Вадима, завотделением с Каширки. «Тут вас разденут до нитки, а там – классные врачи, проверенные, клиника не раскрученная, но надежная». И дал телефон директора. Эскулапы и правда произвели самое приятное впечатление, не стремились немедленно выкачать десятки тысяч на анализы, не морочили голову и были предельно конкретны, что Нике понравилось сразу. Немолодая женщина, проводившая скрининг и гистероскопию, уверенная и спокойная, вызывала немедленное доверие. Они пошутили вместе, вместе обсудили последние телепрограммы, и вместе сошлись на их никчемности, не забыли и про пищевые добавки и средства для коррекции фигуры, и также сошлись во мнении о нелепости маркетинговых ходов и бессмысленности усилий обмануть физиологию. Они понравились друг другу. Ника подумала, что с таким партнером чувствовала бы себя комфортно в любой ситуации. Она принесла в конверте больше, чем было договорено, и больше, чем значилось в уже оплаченном кассовом чеке, и доктор приняла это с понимающим достоинством и без лишних слов. И это тоже понравилось. Ника ей верила. И сегодняшним словам о том, что, тотальная операция неизбежна, верила. Как и тому, что в целом прогноз положительный. Главное – не пропустить время. Хорошо, что медицина осваивает новые горизонты и озабочена не только спасением жизни, но и сохранением ее качества. И тысячи женщин во всём мире пережили это и продолжают получать удовольствие. И она таких знает. В конце концов, в ее возрасте лишиться органа, утратившего актуальность, не такая большая проблема.

«У меня никогда не будет дочки», – уже вслух повторила она и почувствовала леденящую тяжесть в средостении.

«Наверное, так бывает, когда говорят – у тебя на сердце камень», – подумала она.

Встряхнулась, нащупала точку в середине ладони, помассировала – это всегда помогало – и вытасила из сумочки телефон.

Номер Вадима был недоступен. «Странно, – подумала она, – он как раз должен быть на групповой тренировке, когда вполне можно ответить». Пожала плечами, набрала Леру. Номер помощницы также был отключен.

Ника почувствовала во рту металлический привкус, как бывало перед началом мигрени.

«Ты не должна нервничать. Это просто совпадение. Не впадай в паранойю». Вкус не пропадал. Она порылась в косметичке. Амигренин остался на работе.

Уже несколько раз она не могла одновременно дозвониться мужу и Лере. Она гнала от себя подозрения, старалась их высмеивать, вспоминала комичных мнительных дур – жен партнеров, в основном домохозяйек. Стыдила себя, представляла, как Ленка велела, лицо Вадима, которому она истерически выкрикивает свои болезненные обвинения. Месяца два назад даже устроила специальную сессию с Ленкой. Та была в своем репертуаре, железобетонно невозмутима.

– У тебя есть факты или только твои фантазии? Он живет дома? – деловито спрашивала Ленка, разминая сигарету.

– Да, живет. И очень хорошо за ним следит, у меня времени не хватает. И за дачей. И даже за квартирой в Черногории, контролирует соседа, который за ней присматривает.

– У вас стало хуже с сексом? Ты что-то замечаешь?

– Нет, как обычно. Он устает чаще, чем семь лет назад, но это давно. Мы хорошо друг друга знаем, я бы почувствовала, если что-то не так.

– Он может у тебя отсудить квартиру или дачу?

– Нет, мы с самого начала решили, что составим брачный контракт, и в случае развода каждый останется при своем.

– Значит, ему и уйти некуда.

– Ты хочешь сказать, он со мной остается из-за денег? – возмутилась Ника. – У него, кстати, есть квартира, однокомнатная, он ее сдает, выручку тратит на свои спортивные мелочи. Кстати, я даже проверила, попросила знакомого мента – он действительно ее сдает каким-то кавказцам и приезжает только за деньгами.

– Значит, ты просто выдумываешь несуществующую проблему. Тебе мало проблем? У тебя прекрасный заботливый муж, которого ты интересуешь как женщина, сохранивший здоровье, чем не каждый к его возрасту может похвастаться, и тебя, кстати, приобщает к спорту. Не делай из мухи слона.

– Но если он увлекся?

– Ты сама говоришь, что почувствовала бы. Не придумывай себе трудностей. Радуйся жизни. Пригласи его куда-нибудь отдыхать, где есть корты, воздух, приятная компания. Ты сама давно не отдыхала.

Ленка права. Она несправедлива. Вадим ее не обманывает. Он очень внимательный. Когда она начала искать врача, он сам нашел через кого-то и своих учеников супер-доктора-гинеколога-онколога, ученика легендарного профессора Жордании, основателя школы, который погиб, отдав во время крушения самолета свой парашют молодой женщине. На всех парашютов не хватало. Он и посоветовал клинику около Студенческой. Не нужно быть несправедливой. Это просто невроз. Или таблетки, которых она глотала пачками последние месяцы. Искусственный климакс, потом еще один, глаза вылезают из орбит, бросает то в жар, то в холод, вдруг неожиданно обливаешься потом посреди совещания, и никто не понимает, что с тобой. И как только кончается мучительный курс, изматывающие кровотечения снова... Вадим терпел ее нервозность, не срывался, старался сделать ей приятное, возил в Тарусу, в Плёс, покупал ее любимую пахлаву, которую она не ела, кажется, со времени их знакомства, чтобы не портить фигуру...

Они познакомились в круизе по Средиземному морю. Ника удрала от очередного неудачного романа, от пьющих подружек, от предательства коллег по бизнесу, от ссор с матерью и вечной неустроенности, сын как раз уехал на стажировку в Лондон, и кто-то из партнеров, не расплатившись за рекламу, как обещано, предложил вместо денег бартер – путевку в круиз на две недели. Большинство сослуживцев отказались – старый пароход, переделанный наспех из военного, ненавязчивый сервис, и вообще корабль зафрахтовала какая-то общественная организация для проведения своих семинаров. Но ей было всё равно. Она с радостью просыпалась в тесной каюте на нижней палубе над трюмом, наблюдала за изменением цвета воды, сидя в шезлонге, с удовольствием ела незатейливую еду «шведского стола» общего пользования, не поднимаясь в ресторан, и увлеченно посещала все экскурсии, на которые многие посетители ресторана жалели сотню долларов. Дворцы турецких султанов, музеи Ватикана, где экскурсию неожиданно вела внучка академика Фридлянда, Парфенон, развалины Помпеи, ночной Неаполь... Ника с восторгом внимала словам экскурсоводов, живо обсуждала со случайными спутниками детали ушедших эпох, счастливо взлетала по древним ступеням, как будто сбрасывая годы. В домике семьи Наполеона на Корсике она отстала от группы, остановившись у старинного зеркала, пристально всматриваясь в свое отражение.

– Так же смотрела Жозефина Богарне, – услышала она за спиной.

Высокий молодой загорелый мужчина в тенниске отразился в зеркале.

– Но она же здесь никогда не была, – отозвалась Ника.

– Но могла бы. Она была рядом с Наполеоном, а значит, и здесь. Она всегда была с ним.

– Она была старше, – почему-то сказала Ника.

– Всего на несколько лет. Тогда это имело значение. Но она подсказала ему, как жить. И он стал Наполеоном. – Он улыбнулся:

– У вас та же повадка.

– Разве? – она развеселилась

– Конечно. Вы сами этого не знаете. Таким, как Жозефина, дарят половину мира.

– А вы что можете подарить? – неожиданно для самой себя спросила она.

Незнакомец засмеялся.

– Мир тенниса. К сожалению, тут нет корта. Но я с удовольствием приглашу вас в свою школу в Москве.

– Я никогда не играла.

– У вас точный глазомер и хорошая координация движений. Наверное, вы занимались спортом. Стоит попробовать. Меня зовут Вадим. А вас?

Вадим окончил МАИ, но научная карьера не сложилась, зато юношеское увлечение теннисом помогло, он стал тренером в частной детской спортивной школе. Оказалось, они жили почти по соседству в детстве, ходили на одни и те же спектакли и выставки, слушали одни и те же пластинки, им не надо было многое объяснять друг другу из того, что дорого или смешно. После возвращения Вадим почти сразу переехал к ней и всю занялся ее спортивным воспитанием. Ника тренировалась истово, довольно быстро освоила азы теннисного искусства. Он был терпеливым и внимательным тренером и внимательным и умелым любовником. Она изменилась внешне, сбросила совершенно незаметно десять килограммов и обрела ту внутреннюю уверенность и подтянутость, которые отличают успешных женщин. Они хорошо играли в паре, и с ними любили играть родители учеников. Отец одного из них, крупный предприниматель, неожиданно предложил средства для открытия новой компании. Ника без сожаления простилась с прежней работой и открыла фирму «Вероника». Презентацию новой рекламной службы осветила пара телеканалов. Опыт и деловые качества Ники, а также уже наработанные контакты

помогли быстро занять необходимую нишу. Первая серьезная сделка была с компанией «Прада», открывшей несколько новых бутиков в России. С тех пор Ника покупала одежду и аксессуары только у этой фирмы. Это стало ее стилем. Когда вышел известный фильм с Мерил Стрип, «Вероника» устроила благотворительный концерт с участием «Виртуозов Москвы» и отправила актрисе приветственный адрес. Об этом, согласно договорам, сообщили пять центральных СМИ и три иностранных. Ника вырвалась на новую орбиту.

На свадьбу (скромную, но стильную, под стать всему, что делала теперь Ника) приехал Никин сын, к тому времени уже ставший партнером в британской адвокатской фирме, ориентированной на содействие российским бизнесменам и их семьям, и сын Вадима, курсант академии ФСБ. Мама Ники, крайне скептически относившаяся к первому мужу и последующим кавалерам дочери, души не чаяла в новом зяте. То, что он был на пять лет моложе, знали только самые близкие – теперь Ника, закованная в «Прада», знала все последние новинки чудодейственной безоперационной косметологии, ее лицо и тело обрели законченность международного стандарта бизнес-леди, безусловно стильной, привлекательной и вечно молодой, почти бессмертной...

Их брак не тускнел и не омрачался бытовыми ссорами, их страсть не остыла, приобретя размеренность и сбавив темп, но они по-прежнему пылко стремились друг к другу, когда позволяло время. И финансовые возможности, которые неуклонно росли, позволяли придумывать все новые необычные совместные приключения – поездку в Анды, путешествие верхом по границам Монголии, круиз в Антарктиду... Все семь лет, которые провели вместе, Вадим был безупречен, поддерживал ее новации, радовался успехам, по поводу которых организовывал импровизированные маленькие торжества, общался с клиентами и партнерами на раутах, некоторые из них определяли детей в школу тенниса,

которую Вадим выкупил и успешно развивал уже самостоятельно. У каждого из них было свое дело, и было взаимопонимание и радость глубокой близости. Как-то, кажется, через год после свадьбы, на итальянском курорте, обнимая ее, Вадим спросил: «Может быть, мы родим дочку?» Ника не помнила, что ответила, кажется, сказала, что надо подумать, хотя ей уже сорок три. Он как-то еще вспоминал, и она помнила, что вдруг взволновалась, даже начала выяснять возможности в институте гинекологии. Но потом начались проблемы с бизнесом, что-то еще...

Ника снова достала телефон, потом снова положила его в сумку. Она ступала на заляпанный листьями асфальт машинально, не выбирая дороги, левее и левее, пока не уткнулась в зеленую школьную ограду. Насквозь прохода не было, калитка после окончания уроков, как и повсюду в школьных дворах, запиралась на замок, надо было возвращаться на Студенческую улицу. Она ухватилась двумя руками за решетку, прижалась лбом. Чисто выметенная территория, пара кустов боярышника с алеющими ягодами, спортивная площадка, два пятиэтажных здания, поновее и постарше... И вдруг поняла – это ее школа.

Конечно же, именно она, как можно было забыть? Ника с усилием сообразила, сколько лет здесь не была. Ровно тридцать. Ничего не изменилось, те же здания, только новые спортивные снаряды, аккуратные кустарники, которых, кажется, не было, даже дорожка к калитке такая же. Она осторожно пошла вдоль забора, вышла на улицу, решительно пересекла ее и свернула во двор противоположного дома. Двор тоже не изменился. Даже лавочка под раскидистой липой (сколько же ей лет?) – та же. Лавочка, на которой собирались украдкой после уроков и тайно курили старшеклассницы, обменивались косметикой, делились секретами... Она устремилась к ней и увидела девочку, лет шестнадцати, в джинсах и коротенькой курточке. Девочка стояла в стороне, под другой липой, и пыталась закурить.

Нике вдруг смертельно захотелось сигарету. Она не курила уже много лет, забыла вкус сигарет, не терпела табачного дыма. Сейчас желание затянуться было почти нестерпимым. Она порылась в сумочке – зажигалка «Прада» всегда была с собой как талисман, она когда-то помогла получить фантастически успешный контракт, с тех пор Ника с ней не расставалась.

– Тебе помочь? – спросила она.

Девочка обернулась. Длинная каштановая челка, зеленая прядь, пирсинг в носу, заплаканные глаза, с ресниц потекла тушь.

– Держи, – она протянула зажигалку.

Девочка взяла, секунду рассматривала, прикурила, протянула обратно.

– Спасибо. Прикольная вещь.

– Возьми себе, – удивляясь сама себе, сказала Ника. – Может быть, у тебя есть еще сигарета?

– Конечно, – засуетилась девочка, достала пачку «Кента», – пожалуйста.

– Ты здесь учишься?

– Да, в десятом «В».

– Я тоже здесь училась. Только в десятом «Е». Это был гуманитарный класс. Сейчас в школе есть специализация? У нас были три математических класса, два химико-биологических и один гуманитарный.

– Сейчас гимназия.

– То есть все учатся одинаково?

С непривычки у Ники закружилась голова, она присела на лавочку.

– Мы на этом месте собирались с подружками и курили после уроков, чтобы никто не видел. Тогда на углу у метро был киоск, продавали болгарские сигареты «Фемина», мы посылали за ними Сою Тихонову, она снимала школьный фартук, у нее был самый большой бюст, как у взрослой, и ей продавали.

– Прикольно, – сказала девочка.

– А у вас формы нет? – Ника оглядела девочку – джинсы, хлопковая сумка, кеды.

– Не-а.

– А есть ли театр?

– Кажется, нет, – пожала плечами она.

– А у нас был театр. Великолепный театр, один из лучших в городе тогда. И я играла. – Она вдруг вспомнила отчетливо актёрский зал и подготовку к репетиции. – Играла в спектакле про Пушкина аристократку Осипову. А Пушкина играл Гиви Цурия, отлично играл, он потом стал заслуженным учителем, о нём даже сняли фильм. А тогда был хулиганом, состоял на учете в детской комнате милиции. Пушкин всё изменил, оказывается... Я видела фильм о нём в Нью-Йорке, на фестивале русского документального кино.

– Готично, – выдохнула дым девочка.

– И еще был спектакль, по Михаилу Светлову, о гражданской войне, о молодости и любви. И мы все ходили в библиотеку имени Светлова читать его тексты... – Нике вдруг захотелось вспомнить все подробно, восстановить вспыхнувшие осколки давно пережитого. – Но самый лучший спектакль был до того, как я в эту школу попала. Он назывался «Миша Гринин». Про реального мальчика, который покончил с собой из-за несчастной любви.

– Ну, так это совсем просто. Главное – решить как.

– Миша Гринин любил девочку из параллельного класса, тоже из нашей школы. А она его – нет. И он писал стихи. Я раньше хорошо помнила. «Дорогая, о поверь, как обидно временами, видеть запетулю дверь, словно пропасть между нами»... Его не печатали, конечно, но вот после его смерти руководительница театра решила сделать спектакль, о его любви и его стихах. После премьеры театр чуть не закрыли, приезжала комиссия из роно, директора таскали по инстанциям, но помогли родители кого-то из артистов, отбили. Но потом уже не ставили.

– Отстой, – девочка наступила на окурок, вытащила новую сигарету.

– Но мы, пришедшие после, знали эту пьесу, и мечтали ее поставить. И стихи переписывали в тетрадки. Послушай: «Я ведь счастье испытал, даже вспомнить невозможно, прежде чем тебя позвал, на минутку, если можно. Сколько раз считал все «но», верил, ждал, робел, смеялся, как спешил и как боялся... Прости, я не помню строчку... Там были такие слова: «За улыбку полонез, – я ведь в музыке невежда, за порыв счастливых грез в миг отчаянной надежды»... А дальше – последние: «В миг, когда глаза блеснут, я опять во что-то верю, и за несколько минут у твоей закрытой двери».

– Класс! – девочка смотрела на нее широко раскрытыми глазами, только теперь Ника заметила, что они разного цвета – один серый, дугой карий.

– Нравится?

– Прикольно. А как он умер?

– Не знаю. Не помню. Мы тогда бредили театром, и я была влюблена в мальчика Федю Стахова. Они жили с братом в соседнем с нашим домом, на Большой Дорогомиловской. Братья Сева и Федя. Федя учился в физмат-классе. Я любила его так, что была готова жизнь отдать за него... И моя лучшая подруга Оля...

– Жесть, – отозвалась девочка. – Правильно.

Но Ника не слышала.

– Мы вместе играли в театре. Ее отец был известный артист, играл в «Малом театре» в «Судьбе человека», мама работала на Мосфильме, отец был очень нервный, но гениальный. Ольга играла старуху-чухонку в пьесе по Светлову, а я романтическую героиню, у меня была подходящая внешность. Федя играл главного героя, но на меня не обращал внимания, и я готова была умереть...

– А вы пробовали? – вдруг с интересом просила девочка.

– Оля тоже была в него влюблена. Она как-то звонила мне по телефону, но у меня дома долго разговаривали родители, потом соседи, у нас был спаренный номер...

– Как это? А мобильник? Айпад? Или у вас не было гаджетов?
– удивилась девочка

– Что? Гаджетов? Конечно, не было. Ни гаджетов, ни компьютеров, ни даже пейджеров, это всё появилось потом. Телефоны дома стояли не у всех, и во многих квартирах были спаренные номера, то есть один на две квартиры. Даже в этом районе. Не говоря уже о коммуналках.

– И «Телеграма» не было? И «ВКонтакте»? – не поверила она.

– Какие сети! Это была другая эпоха! Тебе родители не рассказывали?

– А откуда вы знали, как лучше умирать?

– Что? – Ника поперхнулась.

– Важно правильно решить, что делать. Передоз, или повеситься, или с крыши, как все советуют. Откуда вы узнавали, как надо умереть?

– А тебе зачем? – удивилась Ника.

– Мне кажется, повеситься всё же лучше. Чтобы нагляднее. Прикольно!

– Глупость, – вдруг оживилась Ника. – Во-первых, можно сорваться. Потом, некрасиво. Вываливается язык, моча течет, вонь. Отвратно!

– С крыши мне не нравится, хотя все пишут. Может, всё же лучше с крыши?

– Чушь, – всё больше воодушевлялась Ника. – Можно не на смерть. Зато останешься инвалидом на всю жизнь. У моей знакомой дочь прыгнула с десятого этажа, ее лечат десять лет во всех клиниках мира. Врагу не поделаешь. И мозг отшибло.

– То есть овощ?

– Толку никакого. А тебе вообще это к чему?

– Меня подруга предала. Вместе с моим парнем, то есть я думала, что он мой парень, а они надо мной посмеялись «ВКонтакте». Фотки мои выложили, где я невменько. Я их должна прочесть.

– И всего-то? – удивилась Ника.

– Я думала, он мой парень. Мы полгода чатились. Я ему верила. И подруге верила. Я их обоих ненавижу.

– Мы резали руки, бритвой. Потом прикладывали руку к руке, чтобы кровь смешалась. В знак дружбы. Как сёстры по крови. Ольга резала руки иногда сама. Она звонила мне, когда я не могла взять трубку, сказать, что хочет по-серьёзному перерезать вены. А я не могла взять трубку, занято. И она решила ждать. И позвонила поздно ночью, родители на спектакле были, а мои все спали. Сказала, что не хотела резать, пока мне не скажет.

– Почему?

– Мы были лучшие подруги. Но она передумала. Потом она с Фёдей встречалась и даже сняла его в фильме, потом родила ребенка, который умер. Я после узнала.

– Он был красивый?

– Очень. Похож на актёра Олега Видова. Ты не знаешь, наверное. Он стал бандитом потом, его убили. А Оля умерла от панкреатита. Я узнала из газет, через год, когда умер её отец. Я всё откладывала ей позвонить, много лет. Очень хотела. Мы так и не успели поговорить.

– Моя лучшая подруга меня предала. Мне незачем жить.

– Есть у тебя ещё сигарета, – попросила Ника. – И прикурить. Это, между прочим, «Прада». Фильм видела?

– Держите. Предки что-то говорили. Предки – отстой.

– У меня никогда не будет дочки. Я не думала, что это так плохо.

– Зачем вам дочка? – девочка присела рядом. – Вы прикольная, не старая совсем. Клёвая, короче.

– Мне кажется, мне изменяет муж. С моей помощницей.

– Сволочь, – девочка притоптала второй окурок. – Мстить.

– Муж хороший. И помощница хорошая. Но мне кажется, и это меня разрушает, – призналась Ника. – И у меня не будет дочки. Я только сейчас поняла. Никогда. Мой сын взрослый, он далеко. У него всё хорошо. И вообще всё хорошо. Но не будет дочки.

– Надо убить. За измену надо мстить, – убежденно сказала девочка.

– Как тебя зовут?

– Джил.

– Что это за имя?

– Это ник. Я Джил в сети. Это я. И я решила умереть. Я написала об этом утром. Я не могу этого не сделать. И сегодня весь день думаю как. Мне не нравится то, что предлагают. Я хочу как-то по-настоящему.

– Как тебя зовут на самом деле?

– Настя. Предки назвали. Жесть. Предки отстойные.

– Ты их не любишь? Они, наверное, будут переживать.

– И пусть! Пусть урок пойдет впрок! Надоели! – почти прокричала она. – Пусть помучаются! И Шейла, моя бывшая подруга, и предатель Дик, все они пусть помучаются!

– Настя, красивое имя. Анастасия. Знаешь артистку Анастасию Вертинскую?

– Это которая голая на шпагат садится, я видела в сети?

– Она играла Ассоль в «Алых парусах» по Александру Грину. Самая красивая актриса советского кино. И тебя зовут так же. Значит, ты тоже будешь красивая. И к тебе примчится корабль с волшебными парусами. Тебе же интересно посмотреть, как это случится?

Настя молчала.

Начал накрапывать дождь, Ника, поежившись, подвинулась на скамейке поближе к пышной кроне.

– На кой они тебе все? Зачем тратить на жалких людей свои силы и свою жизнь? Представь себе, что ты летишь по небу и видишь их с высоты птичьего полета, маленьких и несчастных... Тебе приходило в голову, что твои родители несчастные люди? Представь, как они мучились в детстве...

– Они сами всех мучают! – закричала Настя. – И мучили всегда! Лицемеры, гнобители! Мразь! Ненавижу!

– Представь себя на секунду птицей, которая парит под небом и видит всё и всех, и твоего Дика, и твою Шейлу, и твоих родителей, и учителей, и всех-всех...

– И вашего мужа с предательницей помощницей тоже? Она молодая?

– Моложе меня на двадцать лет. И старше тебя на десять. Ты можешь себя представить себя через десять лет?

– Нет, я буду старая и противная. Простите, – вдруг смутилась Настя. – А вас как зовут?

– Вероника. Вероника Михайловна, если хочешь. Так вот, моя подруга встретила с Федей, когда я лежала с ветрянкой – долго лежала и не могла играть в театре, вообще в школу не ходила, – и переспала с ним. И не сказала мне. И я об этом узнала только через несколько лет, когда уже родила сына. И я ее простила. И до сих пор жалею, что не успела ей об этом сказать.

– Предательство?! – Ника вскочила со скамейки.

– Она умерла, и об этом не узнала. Она переживала, я знаю. И я не могу себе этого простить. И только та птица, которая летит над землей, понимает, как горько не узнать, что тебя простили.

Дождь пошел всерьез, разреженные листопадом кроны не спасали, у Ники промок пиджак, она сдувала капли с губ, но продолжала сидеть на промокающей лавочке.

– Да ну их, – проворчала Настя. – Не буду я это всё из-за них заморачивать... Пойду мороженое лучше куплю, – и почти побежала прочь.

Ника посидела еще несколько минут, поднялась и вышла из двора.

– Вероника Михайловна, – услышала она, – зажигалку возьмите!

Настя – мокрая зеленая челка, изменившая цвет от воды курточка со смешными стразами – устремила ей навстречу с зажигалкой в руке. Ника замахала руками.

– Это тебе на счастье!

Запыхавшаяся девочка остановилась и выдохнула:

– Вы знаете, вы – птица! – и убежала прочь.

Ника шла по улице Дунаевского, не обращая внимания на дождь, на промокшие туфли, на звякающий телефон в фирменной сумке, на испорченный макияж и затекающие за шиворот струйки, и улыбалась.

Она видела добрую птицу с сиреневыми крыльями, летящую над осенней Москвой.

Девочка с птицами

Памяти Александра Ткаченко

Новую встречу клиент опять назначил в кафе «Босфор» на Арбате. Марина не любила это кафе с медлительными азербайджанцами-официантами и тучными постоянными посетителями, его антураж, отсутствие стоянок поблизости. Но Брыщенко назначал обсуждение своего развода непременно здесь, уже который раз, в одно и то же время. Видимо, у него поблизости были дела. Или у новой невесты. Невесту он ей показал на фотографии – средних лет, мягкие приятные черты, неброская одежда, таких много. Преподаватель в музыкальной школе, воспитывает сына-старшеклассника. Трудно понять, почему довольно успешный бизнесмен решил уйти от жены – однокурсницы, матери двоих детей, с которой прожил двадцать два года. Среди клиентов агентства большинство испытывали кризис среднего возраста, новые семейные узы казались продлением молодости, открытием новых перспектив. Многие старались организовать болезненный процесс развода и раздела детей и имущества как можно менее травматично, назначали высокие алименты, оставляли квартиры и коттеджи, доли в бизнесе и счета, как будто извиняясь за свою слабость. Женщины в том числе.

Несколько клиенток Марина запомнила особенно хорошо. Одна, менеджер консалтингового агентства, готова была отдать бывшему мужу последнее, чтобы только никогда его больше не видеть, что очевидно не нравилось новому молодому жениху. Марина с большим трудом добилась, чтобы имущество поделили справедливо. Другая, бывшая чемпионка по биатлону, владелица стрелкового клуба, горела жадной реванша, требовала лишить

неверного супруга не только квартиры и машины, но и работы тренера – при помощи знакомых следователей почти подвела его под суд якобы за домогательства к ученицам и требовала запрета на профессию. А бывшая артистка цирка, известная конезаводчица, постоянно плакала-то от жалости к брошенному, бывшему партнеру по арене, то от любви к новому возлюбленному, бывшему жениху дочери, то от чувства вины перед дочерью, которая, впрочем, пока шел развод, быстро вышла замуж за китайца и уехала в Шанхай.

Брыщенко был другой. Коренастый, крепкий, с короткими пальцами и тихим голосом, он настаивал на детальном разделе всего совместно нажитого, включая столовые приборы и привезенные из туристических поездок сувениры. Монотонно, без выражения, перечислял предметы раздела, обстоятельства, при которых они были приобретены. Наиболее спорным вопросом было содержание детей: старшего – студента в Лондонском колледже, и младшего, с аутизмом, который посещал специальную школу. Марину поражало, с какой истовостью он настаивал на сокращении его доли в этих тратах и увеличении доли матери, которая формально владела небольшим салоном красоты. Каждый раз Брыщенко приносил новые документы, подтверждающие реальные, отличные от заявленных в отчетах, доходы от салона, а также информацию о тратах жены – на дорогие аксессуары, встречи с подругами в ресторане, антикварные лампы и прочее. Именно они должны были подтвердить его правоту. Он не скрывал, что нанял частного детектива и аудитора, чтобы всё это выяснить.

Судя по всему, жена Брыщенко не изменяла, в бизнес сама не вникала, поручив всё директору салона, бывшей подруге, и транжирила в рамках допустимого для ее круга. Воспитанием проблемного сына занималась самоотверженно, возила в летние лагеря, нашла музыкальную группу подростков-аутистов и даже ее спонсировала частично, организовала выступления в Праге...

Почему он хотел ее последовательно ограничить и даже унижить, Марина не понимала. Как и того, почему вдруг он решил довольно срочно развестись и жениться на другой, не принадлежащей к его кругу. Возможно, он хотел благодарности? Почитания? Женщина на фотографии не выглядела забитой или робкой. И на жертву не походила – видно было, что хлебнула лиха и научилась постоять за себя.

Как всегда перед поездкой в «Босфор», Марина испытала легкое раздражение. Отдала необходимые распоряжения молодым сотрудникам и секретарше, еще раз пролиставла давно подготовленные документы, подправила перед зеркалом безукоризненно уложенную прическу.

Вздрогнула от неожиданного звонка:

– Дорогая, ты не звонишь, наверное, дела. Ты помнишь, мы сегодня идем на день рождения к моему шефу? – голос Вадима звучал совсем-по-мальчишески. – В полседьмого на Чистых прудах!

– Конечно, дорогой. Прости, заработалась.

Она забыла совсем, такого давно не было. Наверное, слишком долго вчера сидела с бумагами, за полночь, хотя давно запретила себе такое. Надо раньше ложиться.

Раздражение нарастало, Марина размяла пальцами затылочные кости, сделала два глубоких вдоха и выдоха. Обычно помогало. Что есть досада, хандра и даже депрессия? Сбой в движении жидкости и питательных веществ по клеткам, нарушенный метаболизм. Она хорошо помнила курсы, которые разработала знакомая, диетолог и психолог, и рекомендовала их коллегам. Восстановление баланса химических веществ – основа физического и психического благополучия, надо только иметь настрой и немного воли. Не так сложно, как кажется. Распорядок дня, питание, витамины, немного физической нагрузки. Спать раньше 23. непременно косметолог и стилист.

Проверено на личном опыте. Беспроигрышный вариант. Все проблемы решаются без мук, и удача будет сопутствовать регулярно. Так она говорила сотрудницам, Соне и Вике, с которыми старалась поделиться не только профессиональным опытом, но и философией, которую обрела за долгие годы проб и ошибок.

Вика напоминала ей дочь Настю, которая давно уехала с мужем в Нидерланды, такая же сосредоточенная, перфекционистка, замкнутая. А Соня – она вся в мечтах, влюбленности, классическая чеховская провинциалка... Из Майкопа, жила у тетки в Москве, собирала на ипотеку. Когда влюбилась в автогонщика и собралась замуж, Марина настояла, чтобы заключили брачный контракт. Гонщик до свадьбы успел разбить ее машину, занять десять тысяч евро – всё, что Соня накопила, за ее счет ел и пил, ни в чём себе не отказывая, пропадал где-то по нескольку дней с друзьями. Сама мысль о контракте Соню возмущала и оскорбляла, но Марина сказала, что без контракта не возьмет ее на работу. Красавец-гонщик в конце концов так и пропал, вместе с деньгами. Соня в слезах благодарила Марину, через год накопила на первый взнос и взяла ипотеку, съехав от тетки. Но снова влюбилась в лохматого компьютерного дизайнера, которому, судя по всему, было мало что интересно, кроме его программ и анимэ.

Когда-то, в разгар романа с гонщиком, Соня бросила Марине в сердцах:

– У вас Вадим проходит по какому разряду, как здоровый образ жизни или как стилист? – И сразу извинилась, испугалась.

Марина задумалась.

– Наверное, как воспоминание о дочери.

Сама удивилась, что так ответила. И только потом поняла, с этим молодым парнем, только на восемь лет старше Насти, она так долго не потому, что пылок, а потому что пытается представить, как и чем живет Настя. Чтобы быть к ней ближе.

Они познакомились три года назад на презентации продуктов лечебной косметической промышленности, он сам подошел и спросил, как ей представленные новинки. Оказался представителем фирмы, только что вернулся из Швейцарии, где провел год на стажировке. Невеста вышла замуж за другого. Это всё он успел рассказать сразу, как рассказывают попутчику в поезде, не боясь. И мать уехала жить к овдовевшему другу детства, олигарху. Высокий, в дорогом прекрасно сшитом на заказ костюме, внешне лощеный, он показался тогда похожим на бездомного щенка. Они стали встречаться. Марина никогда не давала ему ключи от квартиры, и он уважительно держал дистанцию, никогда не появлялся без звонка и без изысканного букета. Каждый месяц они ездили на выходные, иногда захватив лишний день, в подмосковные спа, в Вену, которую любила она, или в швейцарские Альпы, которые любил он; могли сорваться на выставку Брейгеля или премьеру в опере. У них оказалось много общих увлечений, и Марина с удивлением иногда ловила себя на том, что никогда не чувствовала себя так легко и уютно, как с этим мальчиком, на двенадцать лет моложе, который искренне радовался хорошей постановке, вкусной еде, нетрудному восхождению. Она с искренним интересом вникала в дела его компании, иногда подсказывала, как лучше поступить, и представляла, что бы посоветовала Насте, которая никогда не любила советов, с первого класса. Никогда не забыть, как она, вернувшись поздно после суточного дежурства на телефоне доверия, измученная, подошла к Насте, которая мучилась над уравнением, спросила, как помочь, обняла.

Настя, вырвалась, закричала:

– Оставь меня в покое наконец! – И повторила спокойно, ледяным, звенящим от ненависти голосом:

– Навсегда оставь меня в покое, ты поняла?

В самые дурные минуты она вспоминала этот голос, раздувающиеся ноздри и сверкающие злостью глаза дочери.

Настя училась хорошо, победила на всероссийской олимпиаде по биологии и без экзаменов поступила на бюджетное отделение на биофак, потом стажировка в Институте Пастера, после которой прямиком, вместе с сокурсником, с которым поженились в Москве, укатили в город Гауда, в лабораторию по разработке лекарства от Альцгеймера. Марина приезжала в город, знаменитый своим сыром, дважды – по дороге из командировки в Роттердам и на 25-летие Насти, оба раза уезжая с чувством какой-то неловкости и недосказанности. Настя и ее муж были внешне приветливы, водили ее в ресторан, показывали город и свой маленький садик – два метра перед дверью университетского дома для преподавателей, где росли незнакомые цветы без запаха. Оба были увлечены работой, жили, казалось, в своем закупоренном, как пробирка, недоступном другим мире; они формально спрашивали и формально отвечали на вопросы, но в воздухе их выдержанного в популярном экологическом стиле жилища висела пустота, в которой, как казалось Марине, эхом отдавалось то же самое: «Оставь меня в покое»!

Вадим привык вскоре советоваться с ней обо всём. Отец, химик, занявшийся коммерцией в 90-х, погиб; мать была властной, если не деспотичной, требовала от сына не просто успехов в учебе и работе, но непременно триумфа, и он боялся ее разочаровать. Ему казалось, что мать его предала, и Марина осторожно пыталась объяснить ему, что он не прав, что всё не так трагично, что они еще успеют понять незаменимость друг друга. Через год примерно после их знакомства Марина получила на день рождения огромный букет. В надушенном конверте – тисненая открытка и несколько слов четким почерком: «Спасибо, что поддерживаете моего сына».

Платили по очереди за отели и рестораны, вообще, в их отношениях установился уважительный паритет, к которому оба относились с юмором. Как-то Марина спросила, не хочет ли он

завести семью и детей, и тот искренне удивился и спросил, не собирается ли она его бросить. Иногда ей казалось, что, разговаривая с ним, она слышит Настю, ту, которая тщательно от нее пряталась в свою скорлупу. Рассказать о дочери решилась через пару лет, когда они были в Риме и падали в кровать, изнемогая от длительных прогулок по вечному городу и новых открытий, которым радовались равно по-детски.

– Бедная ты моя! – он осыпал ее поцелуями, стараясь осушить внезапно брызнувшие слёзы, но слёзы лились и лились.

– Обещай, что ты никогда не будешь больше плакать, – очень серьезно сказал он утром. – Никто не стоит, чтобы ты плакала, даже Настя.

– Я никогда и не плачу.

В переулках у Арбата не оказалось ни одного места, и Марина заехала на стоянку у отеля, пошла назад по Садовому. На месте гостиницы когда-то был бар «Лабиринт», куда они ходили после стипендии. Там же отмечали первую свадьбу, совсем скромно, столик на шестерых, однокурсник продал диск Nazareth – на это и гуляли. У Марины вдруг окончательно испортилось настроение.

Она не любила Арбат, толчею у Макдональдса, грязноватых мазил на складных скамеечках, зазывавших прохожих запечатлеть себя за тысячу рублей на куске ватмана, провинциальных зевак, таращащихся на витрины, стайки туристов, фотографирующих друг друга на фоне витрин, даже студентов Гнесинки, неожиданно чисто исполняющих «Времена года» Вивальди... Раздражения не могли развеять ни вывеска Музея Лосева, ни печальная фигура Окуджавы перед кафе «Босфор». В этом доме жила Людмила Михайловна Алексеева, диссидентка, глава Московской Хельсинкской группы. Марина приходила к ней несколько раз вместе с другими женщинами – сотрудницами центров помощи пережившим насилие; искали и находили поддержку, пили чай за круглым дубовым столом перед стеклянным

шкафом со знаменитой алексеевской гжелью... Как давно это было. Памятника тогда еще не было, и в сквере отдыхали бомжи вместе с усталыми туристами...

В этот день Окуджаву оказалось видно только наполовину – между ним и Арбатом сотрудники ресторана «Му-му» поставили огромную бело-оранжевую корову.

Марина вошла в «Босфор», заказала турецкий кофе. Брыщенко подошел ровно к назначенному времени. Он, видимо, торопился, на низком лбу блестели капельки пота.

– Вот, – разложил на столике новые бумаги, испещренные цифрами.

Это была информация о суммах, выплаченных в разное время госпожой Брыщенко администрации летнего лагеря для детей с особенностями развития и конюшне в Подмосковье.

– Вы видите, это намного больше, чем необходимо для пребывания ребенка в лагере. Я не против того, чтобы ребенок проходило иппотерапию, сколько это необходимо. Но десять лошадей – это уж чересчур. Для этого есть благотворительные фонды. Так нельзя расходовать семейные деньги. Я бы хотел, чтобы это было учтено.

Адвокатская контора «Стелла» славилась тем, что все клиенты покидали ее удовлетворенными, даже если первоначальные их планы сильно отличались от полученного результата. Это был фирменный знак, главная тайна, недоступная наступающим на пятки конкурентам. Основатель конторы, сын генерала КГБ, в перестройку поехал учиться в Америку, окончил аспирантуру по ювенальной юстиции и, вернувшись, активно включился в ее продвижение, но вскоре почувствовал изменение ветра и быстро перестроился, стал активным защитником семейных ценностей. Однако полученных в американской академии знаний не растерял и обрел золотую жилу – стал заниматься бракоразводными процессами олигархов, имеющих активы и недвижимость за грани-

цей. Помимо денег и поместий, новые русские делили детей, это было внове в России, но совершенно нет – за ее пределами.

Впервые в контору, названную в честь жены основателя, Марина попала в начале нулевых, ее поразил роскошный интерьер, бульдожьих лица секретарш и ботинки из крокодиловой кожи на ногах директора. Чуть позже она заметила массивные золотые запонки с бриллиантами. Ее пригласили помочь в деле магната, который недолго думая поместил надоевшую супругу в психиатрическую клинику в Нидерландах и объявил ее недееспособной. Дело получило огласку в нидерландской прессе. Нужен был специалист по домашнему насилию. Марина блестяще справилась с заданием – весь опыт, полученный на тренингах и на телефоне доверия, пригодился.

Она поехала в Роттердам, посетила местные женские организации, куда успела обратиться несчастная, выявила наличие последовательного психологического прессинга, которому та подвергалась, особенно после того, как сама хотела подать на развод. К тому времени как Марина привезла убийственный материал, выяснилось, что магнат обидел не только жену, но и влиятельных людей в правительстве, отказался финансировать важный объект и сам попал под следствие за неуплату налогов. Процесс освещали в СМИ, олигарх публично каялся, оплатил стройку, назначил достойное содержание выпущенной из психушки жене и просил разрешения встречаться с детьми, которые под радостное одобрение зрителей и читателей остались с матерью в том же Роттердаме.

Марина стала юристом бюро, ей доверяли особенно деликатные дела, переговоры с обиженными супругами. Основатель ценил ее компетентность, четкость, умение промолчать и найти выход из трудной ситуации. Когда пошел в политику, даже хотел сделать ее директором, но она благоразумно согласилась с альтернативным предложением – остаться главным юристом, а ди-

ректорское кресло отдать давно нацелившемуся на него бывшему полковнику, другу отца основателя. Тот в дела особенно не лез, предпочитая руководить дистанционно – с дачи или из любимой Праги, где имел небольшой дополнительный бизнес. Марина настояла, чтобы роскошные апартаменты сменили на строгий офис в Москва-Сити, передела штат из «Версаче» в «Балли», прогнала всех сотрудников через тренинги по деловому этикету и психологии конфликта. И сама оделась в марку, которую никогда не любила: туфли, сумки, сапоги и ремешки – только от «Балли», на невысоком каблуке; костюмы – строго классического покроя, от «Энн Кляйн» или «Зара»; легкий тщательный макияж, никаких вольностей в причёске. Скромное кольцо с бриллиантом. С первой минуты облик юриста должен создавать впечатление респектабельности и профессионализма. Никаких заигрываний или намека на неформальные отношения с клиентами. Ровно и доброжелательно. Твердо, если есть необходимость. Логика и система аргументов – главный залог успеха. Психологические приемы – это та же система аргументов, просто в ином измерении. И никто не должен догадываться, что ты думаешь о них на самом деле. Что у тебя вообще есть какие-то мысли и чувства, помимо интересов клиента и репутации своей фирмы. Так она учила молодых, так объясняла стратегию успеха коллегам, казалось, и сама превратилась в механизм по достижению успеха в муторных, подчас откровенно неприятных делах, где проявлялись самые неожиданные, часто отвратительные свойства. Появление Вадима, отношений с которым она не афишировала, но и особенно не скрывала (нет смысла, всё равно все узнают), в глазах коллег только прибавило ей веса: успешная бизнес-леди имеет молодого друга, представителя международного бизнеса, атрибут неизменного успеха...

Брыщенко с его механическим монотонным подсчетом ее раздражал всё больше. Она представила его на кухне, наливающим кофе, просматривающим новости в айфоне, пока жена наливает кофе.

Он безразлично отодвинул чашку с капучино, потребовал счет.

Вот так же он отодвигает всех, с кем прожил жизнь и с кем собирается жить дальше, вдруг подумала она и содрогнулась. Это хуже, чем очевидное насилие, это бездушие, перед которым беззащитны все. И прежняя жена не настаивает на своем, смирившись с тем, что ее ожидает, и нет никакой возможности ей помочь; и у будущей нет никаких перспектив...

Клиент включил звук, кратко ответил, что скоро будет, и попрощался. День первого слушания был назначен. Марина попросила еще кофе. Официант принес кофе с молоком, который она не пила. Ну пусть. Достала телефон, собираясь позвонить Вадиму. Отпила глоток. И вдруг вспомнила давнее, о чём не думала много лет.

Она идет по Плотникову переулку к Арбату, к Смоленской, размахивая папкой, в которой тетрадки с английскими выражениями и потрепанная книжка Моэма, которую надо прочитать к следующему уроку. Троллейбус тащится, гроыхая, по щербатому асфальту, весна, лужи; она заходит в Смоленский гастроном, где в кафетерии роскошь – бутерброд с «Докторской» колбасой и кофе – двадцать копеек. У нее есть билет на электричку, а от станции домой можно дойти пешком. Последние минуты в Москве, растягиваешь удовольствие. Она встает за высокий столик, дует на горячий напиток.

– Вы хотите сниматься в кино?

Напротив стоит человек в распахнутом длинном пальто, яркий шарф, растрепанные волосы.

– Я режиссер. Я видел, с какой радостью вы несли этот кофе. У вас удивительные глаза. Я бы вас снял в новом фильме. Это пока только замысел, но я бы пригласил вас на пробы. Как вас зовут?

– Марина.

– Андрей. Вы студентка?

– Собираюсь, – подумав, ответила она.

– У вас удивительная пластика. Как у теленка, простите, неуклюжая и очаровательная одновременно. Как раз то, что я бы хотел.

Он стал рассказывать, что задумал кино о молодом человеке, который ищет себя в прошлом, он убегает из настоящего, и не может найти себя нигде, и встречает девочку, которая умеет летать. То есть об этом никто не знает, но он догадывается, что она по ночам открывает окно и взмывает в небо вместе с птицами. И однажды он ее видит, но не успевает поймать...

– Я вижу, как вы поднимаетесь на подоконник, вот так, как стоите сейчас, чуть вперед левое плечо, и смотрите на небо...

Марина слушала, затаив дыхание.

– Вы знаете, где «Мосфильм»?

Она замотала головой.

– Тогда приходите сюда завтра. В это же время. Поедем вместе. Хотите еще кофе?

Марина опомнилась, посмотрела на часы – надо бежать, она опоздает.

– Так до завтра? – крикнул Андрей.

– До завтра, – она уже бежала к выходу.

Электричка ушла, следующая не останавливалась на ее станции, домой она пришла совсем поздно, мокрая до нитки. Ночью ее знобило, она видела во сне девочку, встающую на подоконник, слышала голос незнакомца. Утром у нее поднялась температура и пропал голос, врач выписала больничный. А через день случилась беда. Лучшую подругу Веру изнасиловал и избил мужик, взявшийся подвезти в дождь от станции. Отчим Веры, участковый, был навеселе, когда она пришла; не поверил и сам избил, обозвал шлюхой, заодно избил мать, пытавшуюся ее защитить. Вера убежала из дома и бросилась под скорый поезд. Ее спасли, но поездом оторвало руку.

Мужика нашли, он отпирался, говорил, что девка сама хотела раскрутить его на выпивку в кафе у станции; отчим тоже отпи-

рался, мать с младшим братом валялась в ногах у следователя, чтобы его не сажали. Марина рассказала следователю то, что все знали: отчим бил жену и падчерицу, гонял по двору, сам не раз к ней приставал. Вера давала путанные показания. Мужика оправдали, после этого у отчима появился новый мотоцикл. А Марина решила не идти в педагогический, а поступать на юрфак.

Много раз, уже на первом курсе, она специально приезжала в «Смоленский», подолгу стояла в кафетерии, покупала то молочный коктейль, то тот же кофе с молоком. Но незнакомец никогда не появился.

Вера после больницы не вернулась в школу, устроилась на почту, сошлась с алкашом-кладовщиком, вместе и погибли, отравившись паленой водкой. Марина лежала на сохранении, узнала, когда обоих уже похоронили. Они уже жили с мужем в Москве, в квартире, которую сняла свекровь. Марину она недолюбливала, хотела, чтобы сын женился на другой, дочери капитала дальнего плавания. Он в конце концов и женился. Насте было всего три года, когда, вытряхивая мужнины брюки перед стиркой, она увидела записку: было ясно, что встречаются давно и ждут, пока она с ребенком уедет на каникулы к родителям. На вопрос Марины он только пожал плечами, а когда она предложила развестись, не стал возражать. Тогда она и перевелась на вечерний, снимала комнату, подрабатывала машинисткой и оказалась в очереди за детским питанием рядом с сотрудницей одной из первых в Москве горячих линий для женщин, переживших домашнее насилие. Через неделю она пришла туда волонтером, через год стала юристом кризисного центра. И параллельно поступила на факультет психологии заочно, понимая, что важно не сойти с ума, выслушивая с утра до вечера страшные исповеди, от которых подчас вставали дыбом волосы, и чаще всего нечем было реально помочь.

Психологические тренинги помогли пережить второй развод, неожиданный и унижительный. Она уже начала работать в «Стел-

ле», взяла кредит и купила «трёшку» – новый муж, бывший клиент их бюро, правда, не олигарх, настаивал, что для семьи с ребенком надо не меньше. Эту квартиру он требовал разделить, когда решил сойтись с прежней семьей. Марина отстояла свое, использовала связи учредителя. Все долгие месяцы, пока шел процесс, она приходила в офис с высоко поднятой головой, открытой улыбкой, ничем не выдавая того, что творилось в душе. Дала интервью популярной газете о том, как бессовестно бизнесмены расправляются с бывшими женами. К тому нагрязнула налоговая. Он приходил, валялся в ногах, просил не губить бизнес, обещал вернуться и забыть о прежней семье. Она со спокойной улыбкой на недрогнувшем лице довела процесс до конца. Молодые сотрудницы называли ее «наша железная леди», она знала это, не протестовала. Значит, железная. Но живая! И несломленная.

– Что-нибудь еще? – официант взял пустую чашку.

– Нет, спасибо.

Она расплатилась, поднялась легко, подхватила сумку с документами. Надо бы наконец поменять это «Балли» на что-то еще.

На Арбате только что закончился дождь, на мокром асфальте заново расставляли свои пожитки художники и ряженые, Марина пересекла улицу, вдохнула влажный воздух и вдруг почувствовала, что Арбат пахнет Арбатом, как тридцать лет назад, когда тут не было пафосных бутиков и цветных фасадов. Она покосилась на угловой супермаркет «Седьмой континент» и вслух сказала: и он всё равно «Смоленский»! Под ноги прикатился пластмассовый шарик – пнула, так что он подпрыгнул, полетел на середину пешеходной зоны.

– Девушка! Девушка, постойте! – услышала, как ее окликает немолодой художник. – Постойте! (В руках держит отброшенный ею шарик.) Давайте я вас нарисую! Бесплатно!

Она засмеялась, покачала головой.

– Ну правда! Посмотрите, как на нее похожа! Посмотрите!

Она подошла. На листе ватмане увидела рисунок черным фломастером: девочка в развевающемся длинном платье летит, широко раскинув руки; рядом с ней, вровень, над ней, и под ее ногами машут крыльями птицы с раскрытыми призывно клювами.

– Правда, похожа?

Художник хитро прищурился. Зеленые глаза под седыми бровями, затертое пальто, красный шарф на тощей шее.

– Правда! – Она еще раз посмотрела на рисунок:

– Точно я!

Она открыла сумочку, достала тысячу рублей, положила в коробку.

– Нарисуйте... вот ее! – она увидела девочку с рюкзачком, джинсы, курточка, бейсболка, распущенные волосы, остановилась и смотрит на рисунки. – Ей нужнее!

Марина зашагала к стоянке, размахивая сумкой, как школьной папкой, с которой шла на урок к англичанке из пединститута. Шла и улыбалась, как будто огромная и счастливая жизнь ожидала ее впереди. И разве нет?

«Разбитое сердце»

– Мне Марьяна написала на днях, думала, уже не напишет никогда, не простит. За то, что я Эльку в психушку сдала. Они с Маликом теперь в Маниле, реабилитируют женщин после секторговли. Малик – менеджером. Удочерили двух девочек, Марию и Изабеллу. Филиппинки, на английском не говорят. Их родной дядя продал в бордель на Макао. Почти как Никитич Марьяну. Теперь у них пятеро, старший, Патрик из Конго, скоро школу закончит, хочет быть доктором. Витька прав был, он мне всё время говорил: жди, она простит. Я его вообще мало уважала, не ценила, Витьку-то. Так и жизнь почти прошла...

– Как она с мусульманином живет, не понимаю.

– Витька ко мне и вернулся, когда я Марьяну удочерила. Сказал, у девчонки должен быть отец. И свою мелкую стал приводить, они даже подружились, та, кстати, тоже в медицинский пошла потом. В новом роддоме работает, в Саввино у нас, анестезиолог уже. Хорошо, что наш Пуфик, ну, так нашего мэра за глаза зовут, наконец роддом построил, а то пятнадцать лет мыкались... Скажи, ты меня тоже осуждаешь? А что мне оставалось делать с Марьянкой? В детдом ее отправлять? Элька бы и без психушки с бодуна на себя руки наложила. Конченная была уже, иначе не допустила бы, чтобы ее родственник девчонкой попользовался, а потом за полкило дури продал. Не было у меня выбора!

– Все же, мусульманин. Отца духи убили, а она с мусульманином, да еще с чеченцем. Тьфу!

– А Элька на простыне повесилась, как ломка началась. Марьяна с Маликом уже в Индии были. Они не мусульмане, бахаисты. Новая религия. И оттуда идут по всему миру. Марьяна мне три

года не писала, как узнала про Эльку, я от маликовой тетки (она у нас на рынке ларек держит) узнавала, как они и что, и что стали детей брать. В Кении – первую девочку, ей насильно обрезание сделали; потом Патрика...

– Негры лучше, чем мусульмане; у моего буржуина кассирша вышла за негра, душевнейший человек, ветеринар, как говорится, от бога. Русские песни поет. Мусульмане работники плохие, даже мой буржуй в рабы к себе на плантации только вьетнамцев берет. Мама-покойница в гробу бы перевернулась, если узнала бы, во что единственный внучок превратился. Думала, будет академиком, философом. На лекции возила в Пушкинский музей по выходным на электричке. А это мурло капитализма теперь в школу новый компьютер жидится купить, скотина. Сколько я абортос после Серёжки сделала, мать все настаивала: учись, дочь; ученье – свет, а не пеленки... Не надо было, наверное, мне его рожать, эту прореху на цивилизованном человечестве... И я ему не указ, и все наши педагоги, а в библиотеку ко мне носу не показывает, не то что ремонт сделать. А сынка своего, моего внука, в платный лицей возит на «лексусе» тестя, начальника районного УВД, форменного мафиози. Тьфу!

Люба невольно прислушивалась к разговору двух женщин на переднем сиденье – обратила на них внимание, как только вошли в маршрутку. Одна – солидная, в макияже, с укладкой, дорогая сумка и удобные, но стильные туфли фирмы «Ара», полуортопедические. Взгляд уверенный. Видимо, чиновница или местная бизнесвумен. Другая явно постарше, неухоженная, седые волосы торчком, рваные кеды, джинсы, толстовка, рюкзачок. Из рода пенсионерок, приезжающих вспомнить молодость на бардовские фестивали. С некоторых пор Люба стала приглядываться к женщинам постарше, прислушиваться, как будто примеряясь сама к неотвратимому будущему. Вот той крупной точно за пятьдесят, может быть, даже пятьдесят три или вовсе пятьдесят пять. На во-

семь или десять лет старше Любы. Что с ней самой будет через десять лет? Где она будет, с кем, кто будет ее окружать?

Маршрутка остановилась на светофоре, перед поворотом на Саввинское шоссе, у сквера возле Дома бракосочетаний. В сквере играли дети, на ступеньках здания подросток говорил по мобильнику, энергично жестикулируя. Пышная ветка рябины с набирающими цвет гроздьями почти касалась окна маршрутки. Всё-таки здорово, что сегодня совещание отменили, и она вырвалась сюда, никого не предупредив, ничего не запланировав. Даже Вере не сказала. Свобода! И август просто великолепный – не жарко, почти без дождей, можно не включать надоевший кондиционер дома, а тут, в Подмосковье – просто рай! Подумать только, полчаса на электричке – и другой мир... Как раз то, что нужно, чтобы собраться с мыслями и приготовиться к дальнему путешествию... Молодец Люба!

Кто-то постучал в дверь маршрутки. Водитель открыл. Пожилая женщина медленно забралась в кабину.

– Не положено, знаете ведь!

– Знаю, знаю, мне бы только до кладбища.

Неопрятный платок, замызганная матерчатая сумка. Морщинистое худое лицо без выражения. Пьет?

– Мне по социальной.

– Не принимаем, – водитель снова распахнул дверь. – Или платите, или ждите автобус.

– Да мне бы только до кладбища, к сынку, он афганец, – заверещала женщина.

Люба вытащила кошелек, пытаясь расстегнуть отделение для мелочи, молния заела.

– Не волнуйтесь, возьмите деньги, – «чиновница» уже протягивала пятидесятирублевую бумажку. – Проходите.

– Спасибо, милая, мне сегодня надо до кладбища, у сынка день рождения... В Афгане погиб, у Кабула, всего полгода прослужил.

– Вы субсидию-то получаете регулярно? – деловито спросила «чиновница». – Недавно прибавили. Что как? Принесите документы, всё, что есть, в пенсионный фонд, там специальное окошко.

– А наш тоже в Афгане, – вдруг подала голос «пенсионерка с рюкзачком», – он тоже всего год там был, из Кандагара привезли в цинковом. У него сегодня день рождения.

– А кто он вам, родимые? – заинтересовалась женщина.

– Друг, – неожиданно хором, после минутной паузы, ответили двое. – Одноклассник, – добавила «чиновница», – Сергей Павлишин.

Маршрутка подпрыгнула и покатила дальше.

Вот уже десять лет после смерти бабушки, нечасто, раз или два в год, Люба приезжала сюда – не в день рождения Степаниды Николаевны, никогда не получалось, так как сессия, а как сегодня – незапланированно, для себя самой неожиданно, и всякий раз оказывалось, что эта поездка оказывалась важной. Не то чтобы в Любиной жизни что-то менялось, или решались насущные дела, но что-то выравнивалось, устаканивалось, как сама Степанида Николаевна говорила. Она не рассказывала никому об этих поездках, ни Вере, ни Шандору, ни сыну, ни даже отцу, они были как будто тайной. Хотя какая там тайна – к бабушке на кладбище приехать...

За окном мелькали знакомые с детства места. Незасеянное поле, за которым виднелся нарядный, недавно покрашенный синим купол Саввинской церкви – ах, какой там изразцовый иконостас, просто чудо, она показывала в прошлом году коллегам-американцам!. Выстроенный на месте сгоревшей больницы новенький перинатальный центр, долгожданный подарок жителям города от мэра – он предварительно снес все детские дома и старенький роддом, в котором появилось на свет не одно поколение жителей города и прилегающих колхозов... Оставленный хозяевами дворец в ориентальном стиле – резиденция пять лет назад убитого

в перестрелке с местной братвой цыганского барона – заброшенный, с разбитыми окнами... Главная остановка – деревня Пуршево: тут большой по местным понятиям торговый центр «Гранд», строймаркет, пиццерия «Венеция»...

Бабушка. Степанида Николаевна. Несгибаемая коммунистка, представительница мира, которого больше нет... Что, в сущности, помнит о ней Люба? Красная помада, тщательно уложенные седые локоны, неизменный лак на пальцах, которые так ловко лепят сотни пельменей на заморозку, мнут капусту (Люба всегда трет морковь в помощь), моют пол, подписывают протоколы партийных собраний... Бабушка работала в Кузбассе на шахте, была первой женщиной – главным геологом, наверное, первой в мире, которая работала в таких условиях и на такой ответственной должности. Из нищей рабочей семьи, поэтому ее в 1938-м и направили на эту ответственную работу, когда всех старых спеццов пересажали или просто убили. Она мало рассказывала. Но всегда говорила о том, что после 15 километров под землей – а это была ее еженедельная смертельно опасная, кстати, прогулка – в глазах, ушах, под ногтями оставался уголь. А она всё равно делала маникюр. Маникюр делали тогда ссыльные немки из Поволжья или западные украинки; и одежду шили западные украинки. И Любиной маме в музыкальной школе преподавала профессорша из львовской консерватории.

Послевоенная реальность, Кузбасс... Люба жалела, что не спросила больше. Далекая жизнь, советский проект, всё это так давно... Бабушка была очень четким человеком, всегда активным – стала в поселке, куда они после 25 лет работы в Сибири приехали с дедушкой, секретарем партийной организации, еще в 1970-е возглавила работу по проведению водопровода и газа в поселке. Как ей это удалось, кстати? Дедушку уже парализовало после инсульта, Люба только что родилась. Ее родители-геологи работали на Севере, бросив малышку на Степаниду Николаевну... Люба

даже называла ее мамой лет до четырех... О том, что маминым отцом был не дедушка Владимир Иванович (помнит его в поло-сатой пижаме, с палочкой и папиросой, от которой так и не смог отказаться), а совсем другой инженер, репрессированный по делу старых специалистов в 1938-м, она узнала уже после развода с Сашей, случайно, от бабушкиной сестры. Отец подтвердил и, добавил, пытался узнать, кто это был, перед самой бабушкиной смертью. Люба была в это время на стажировке, приехала уже на похороны. Отец сказал: бабушка отказалась на вопрос отвечать, мол, не помнит. Люба так и представила, как она прикрывает веки и тщательно выговаривает: «Не помню». Помнила, конечно. Не захотела. Унесла с собой.

Маршрутка остановилась. Никто не вышел и не зашел, ехали на кладбище, сойдут на конечной, но водитель, соблюдая правила, задержался, открыл двери.

– Ты знаешь, что я хотела тебя убить? – вдруг неожиданно громко спросила «чиновница»?

– Конечно, – безразлично ответила пенсионерка-«каэспешница».

Люба невольно вновь прислушалась к странному разговору. Одноклассницы! Никогда бы не подумала.

– Я сразу поняла, когда тебя увидела тогда на дискотеке. Я-то раньше тебя с ним была, у нас любовь – не то что ты со своими ментовскими делами, типа у тебя папаша – участковый, а он у него на учете. У нас всё было по любви. Но я, конечно, подготовилась, знаешь, как женщины-террористки, Софья Перовская, Вера Засулич... Мне мама о них рассказывала, она же историк. Конечно, бомба – не то, я бритву взяла у отчима... Острая такая. Пря-тала в трусах.

– Прямо бритву?!

– Готовилась, короче. А потом мы с тобой Эльку застукали, как она за сценой с Серёгой... Вдвоем, помнишь? Он пошел петь, а мы за нее взялись, сучку, а она заори: не тронь, я беременная!

Я тогда не знала, что я тоже, от Серёги... Когда узнала, тут же сделала аборт. А потом сколько еще...

– А я не залетела как раз. И пошла к Витьке, он давно домогался. И вдруг! Я ходила, анализ проверяла, тогда было очень редкое дело! От Витьки, дурака! Я на аборт, конечно. Потом – ни разу, ни от кого. Витька думал, я от Серёги аборт сделала, женился. Но какой от него прок, дурак дураком – разбежались. Несостоятельный мужик, подкаблучник. Мне всегда такого, как Серёга, хотелось... Витька снова женился, дочку завел, а когда я Марьяну домой привела – вернулся. Болеет теперь... Пасеку контролирует, мед, пчёлы... – «чиновница» громко чихнула. – Аллергия на мед, понимаешь? Сколько лет мы не виделись? Восемь? Десять?

– Я «Курвуазье» купила, помянуть, – «каэспешница» тряхнула рюкзаком, – всё-таки, день рождения Серёги. Ты, кстати, с ним «Курвуазье» пила?

– Еще бы!

– После дискотеки, скажи?

– До! У отца была в баре бутылка, кто-то припер, Серёжка в окно ко мне пролез, мы бар открыли... Отец потом на племянника грешил, так и не понял, кто бутылку спер...

– А мы – после дискотеки, в садике у школы. До этого он мне целый месяц про «Курвуазье» говорил, что после него – рай... – Засмеялась:

– Попьем рай?

– Точно, десять лет. Конечно, попьем!

Маршрутка остановилась у ворот кладбища. Служительница открыла ворота, машина въехала на территорию и остановилась перед ритуальной конторой, где продавали искусственные букеты и клумбы, чахлые оранжерейные гвоздики и лампы, несколько женщин предлагали астры и рассаду, уже редкую в августе. Люба не успела купить цветы на вокзале, поспешила к ним и обмерла – «разбитое сердце»!.

Этот любимый бабушкин цветок рос у самой калитки перед крыльцом большого вешняковского дома – капризный, в отличие от неприхотливых флоксов и люпинов, долгоиграющих бархатцев и стойких георгинов. Цвел кратко, чах быстро, требовал особого полива, удобрений, но бабушка ценила его не меньше «огоньков» (в Подмоскowie их называли «жарками»), которые напоминали ей родные сибирские луга и речку Яю, куда она сама ездила с первым в Кузбассе детским садом, организованным польской педагогиней – подвижницей Марией Лянге, и потом, в пионерлагерь, отправляла Любину маму, Ангелину...

Мама, вдруг вспомнила Люба, тоже любила «разбитое сердце». Каждый раз, когда они с отцом приезжали из своих командировок, подолгу сидела у крыльца на лавочке, смотрела на цветок, пропальывала своими тонкими пальцами, думала о чём-то... Мамин образ возникал в памяти редко и наполнял нежностью и печалью. Она погибла давно, когда они еще жили с Сашей. Владик только родился, бурные 1990-е, в магазинах голо, по телевизору революция, книги и журналы громоздятся на столе в кухне – не хватает сил всё прочитать, и страшно, мучительно хочется спать, утром, днем в библиотеке за конспектами, в длинной очереди в подвале Ленинки за обедом, в очереди за детским питанием; размешивая кашу, с Владиком в одной руке; за столом с друзьями, где Саша гарцует, пересказывает последние публикации и все перебивают друг друга...

Когда принесли телеграмму об аварии под Вилюйском, там было кратко: отец в больнице, мама скончалась на месте. Люба думала, что у нее раскололось сердце – как будто острой спицей пронзило грудную клетку, нечем стало дышать. Хорошо, что бабушка как раз приехала из Вешняков, подхватила, Владика посадила в манеж, вызвала «скорую». Только потом заплакала.

С тех пор у Любы только раз еще прихватывало сердце – когда Саша уехал последний раз в Моздок. Хотя ничего не предве-

щало беды, да и развелись они к тому времени уже три года как... А когда бабушку хоронила – не болело. Только пустота, леденящая душу пустота... Кажется, она и не отпускает с тех пор окончательно, только притихает на время, даже забывается, но возвращается неизменно, как лихорадка на губе.

– Георгин купите, до октября будет цвести, – продавщица перехватила Любин взгляд.

– Мне бы вот этот. Сколько?

– «Сердечки»? Да за триста отдам. Последний кустик выкопала, надо было место для нового парника освободить. Я вам коробку дам, чтобы легче нести.

Коробка оказалась очень неудобной, пришлось завернуть в контору, попросить маленькую тачку, заодно прихватить лопату и лейку. Налегая на тачку, она бодро зашагала по главной аллее. Наверное, довольно нелепо всё это выглядит, мелькнуло в голове, – на каблуках, в белом костюмчике от «Энн Кляйн», с этой тачкой. Ну да ладно! Ну и пусть!

Всё-таки здорово, что она сюда вырвалась. А то могла бы не успеть: до отъезда осталось чуть больше недели, а там кафедра, бумажная волокита, передача последних материалов курса Веринной аспирантке – пусть растут молодые кадры! Аспирантка Любе не очень нравилась, амбициозная, резкая, но очень упорная, следила за последними публикациями, использовала их на семинарах; в отличие от преподавателей со стажем, ее любили студенты. Она сразу метила на место Любы, как только стало известно, что та уедет на два года в Балтимор по программе обмена. Ладно, пусть развивается. И заведующей, Вере, приятно. Всё-таки лучшая подруга еще со школы, почти близняшка. Удивительно, практически все на кафедре уверены, что она через два года не вернется в университет. А она сама?

Кроны огромных лип над главной аллеей почти смыкались, образуя зеленую арку, солнечный свет лишь местами пробивался

сквозь листву, падая на неровный асфальт светлыми пятнами, кое-где сквозь асфальт пробивалась трава. Люба пыталась вспомнить названия всех цветов-самосевок на обочине: вот незабудки, барвинок, поодаль мать-и-мачеха, пижма, аквилегия, лунарий... Когда-то они с бабушкой принимали участие в выставке цветов в вешняковском клубе, составляли композиции, делились с посетителями (те же поселковые и дачники с детьми) опытом выращивания растений. Люба не очень любила огород, старалась увильнуть от прополки и прореживания морковки и огурцов, но цветами увлекалась, весной считала дни, когда наконец настанет пора высаживать луковицы тюльпанов или гладиолусов... Долгими вечерами в вешняковском доме, выучив уроки, она читала вместе с «Библиотекой приключений» статьи о растениях мира из «Науки и жизни», представляла себя в будущем исследователем редких видов где-то в сельве Амазонки или африканских джунглях. До пятого класса она жила у бабушки, ходила в вешняковскую школу, пела в пионерском хоре и перед 7 ноября выезжала с классом на торжественные утренники в Железнодорожный, где сначала все мерзли на линейке у горсовета, а потом шли на концерт, песни-пляски местной самодеятельности. Всегда хотелось в туалет, но он был один в кинотеатре «Родина», и всегда приходилось подолгу ждать, пока освободится кабинка...

Из Вешняков она уехала, когда родители вернулись из Якутии в Москву, и как-то сразу забыла сельскую жизнь, окунувшись с иной ритм, новую школу, друзей... В восьмом классе в нем пришла новенькая, Вера. К бабушке приезжали на выходные, потом – с Верой, Сашей и друзьями. Саша вдруг увлекся историей Балашихинского района, познакомился с краеведами из Кучино, вместе с ними стал собирать материал для музея Андрея Белого, ходил на «субботники» реставрировать храм у Бисеровского озера, где раньше был склад. Тогда же Саша вдруг решил изменить тему диссертации – была вполне приличная, про поэзию Сереб-

ряного века и ее отголоски в современных текстах, но он решил написать о фигуре террориста в «Петербурге» Андрея Белого как предтече нового героя. Научный руководитель не понял, возник конфликт, в конце концов Саша вообще ушел из аспирантуры, но это было уже позже...

Теперь в музей Андрея Белого приезжают экскурсанты, а церковь, нарядная, отреставрированная, возвышается на берегу озера, как игрушка, и уже дважды была объектом внимания прессы. Один раз, в конце 1990-х, в ней устроили разборку «братки», «балашихинские» схлестнулись с «ногинскими». Потом – выгнали священника, веселого отца Симеона, за то, что продал все старые доски из иконостаса, собирали несколько лет по всему району, заменив их новоделом... Согрешившего не посадили, перевели в дальнюю деревню, теперь в Бисерово новый батюшка, степенный, пожилой...

Она почти дошла, когда зазвонил телефон.

– Good morning, my sweety! – звучный баритон Шандора преодолевал километры и часовые пояса.

Поразительно, как он умудряется позвонить не вовремя.

– Good morning, darling...

Шандор бодро сообщал, как обычно, тщательно выговаривая каждое слово, что к выходному – Дню труда – зарезервировал отель, у чудного озера, так и называется, «лейк отель», недорого и очень красиво. И привезет с собой желтые простыни, ей очень понравится. Только что купил по онлайн-сэйле. Ждет и скучает. А теперь идет на тренировку, приехал новый коуч, они вместе дадут мастер-класс начинающим теннисистам. Очень ждет и скучает.

У Любы вдруг испортилось настроение.

Он учил в школе русский язык, как все тогда в Венгрии. Почему он никогда не разговаривает с ней по-русски? Английское произношение ему дается с трудом, сам жаловался, что к языкам способностей нет. Ни разу...

С Шандором они познакомились на Всемирном конгрессе славистов в Польше, сотни историков, политологов, филологов, изучающих бывший Восточный блок, из всех стран – такой академический мини-Вавилон. Оказались за одним столиком на завтраке. Социолог, исследователь семейных ценностей. Частный колледж недалеко от Ниагарского водопада, с американской стороны. Только что развелся, жена уехала назад в Будапешт. Сын – спортсмен, в сборной штата по бейсболу. Он рассказывал о себе, как на собеседовании при приеме на работу, это Любу страшно развеселило. Потом он говорил, что заметил ее еще вечером, но не знал, как познакомиться. Несмотря на выигрышную внешность (коллеги-славистки сразу его оценили – высокий, яркий брюнет), он оказался довольно замкнутым. Иногда Любе казалось, что в то утро он подсел к ней лишь потому, что решил – ему пора завести приятное знакомство. Он плохо знал литературу, и в первую ночь Люба пересказывала ему «Одиночество в сети». Больше всего Шандора поразило, что героиня обрела уверенность, надев желтое белье. Он несколько раз переспрашивал, что это значит. Когда через полгода она приехала к нему в гости, он подарил ей желтую ночную рубашку.

Они встречались уже три года, то там, то здесь, благо академические обменные поездки получали поддержку довольно легко, Шандор познакомился с Владиком, когда тот был на каникулах, расспрашивал о Кембридже, мечтал, что его сын когда-нибудь тоже получит стипендию в Кембридж или Оксфорд, но тот пока предпочитал бейсбол. Вера, как только увидела Шандора, вынесла вердикт: это твой шанс. Красавец, доцент и американец. Вера всегда была предельно конкретна и точна в определениях.

Теперь, когда она будет преподавать в Балтиморе, надо будет что-то решать. Договорились пока встречаться каждый второй уикэнд. Как это называется, дистанционный брак? Модно, совре-

менно. Практично, наконец. Многие к этому приходят после сорока, живут отдельно, встречаются, когда захочется, не недоедают друг другу. Психологи говорят, это помогает сохранить остроту чувств и радость сексуальных переживаний. С этим у Шандора всё в порядке, не скажешь, что скоро пятьдесят. И к Любе он относится идеально, звонит дважды в неделю, интересуется ее работой, о себе рассказывает всё, кажется. Кажется? Может быть, у него там у водопада есть какая-нибудь ундина? Молодая кандидатка в спутницы жизни? Вряд ли. Не только потому, что городок маленький, все на виду. Шандор слишком правильный и хорошо организованный для интрижки. И покупает со скидкой желтое белье, со скидкой непременно...

Наконец дошла. Чуть облупилась ограда, надо будет на обратном пути в конторе заплатить, чтобы покрасили до дождей. Скромные гранитные памятники – бабушка, дедушка, мама (ее памятник в виде тюльпана – бабушка чудом нашла такой камень в мастерской). Многолетний папоротник, барвинок, отцветшие пионы, заросшая травой цветочница. Как раз место для «разбитого сердца»! Каблуки, конечно, не к месту, и маникюр пропадет, ну и пусть! Люба сбросила жакет, повесила на ветку рябины и принялась за работу.

Через полчаса она с удовлетворением смотрела на результат непривычного труда, тщательно протирая ладони влажной салфеткой. «Разбитое сердце» преобразило участок. Надо будет заплатить рабочим, чтобы поливали цветок.

Люба с детства любила, чтобы во всём был порядок. В огромном бабушкином доме это получалось не всегда: Степанида Николаевна была импульсивна, могла с вечера оставить немытой посуду, увлечься разговором со своими «коммунистами», радиопередачей, не приготовить вовремя ужин, и Люба грызла сухари, уткнувшись в книжку. Книжки она расставляла и вытирала с них пыль самостоятельно, составила каталог. Всё это было полностью

разрушено Сашей, который мог втиснуть «толстый журнал» на полку учебников, а раритетную, привезенную еще из Сибири, энциклопедию запихнуть в залежи детективов, которые любила мама. Любу это бесило, она старалась сдерживаться, но не всегда получалось. С общим их с Сашей коротким бытом было еще хуже: он не то чтобы ставил ботинки на стол, но разбрасывал вещи повсюду, грязные носки вместе с детским бельем, и на замечания только высокомерно пожимал плечами – не мужское то дело, разбирай сама, если хочешь... И, дымя «столичной», погружался в чтение, не замечая, что пепел падает мимо.

Его родители, так же, как и Любины, были геологи, правда работали не на Севере, а в Казахстане и потом в Африке, оба крупные, веселые, любители шумного застолья... После того как Люба с Сашей развелись, приезжали самостоятельно к Любе и Владу, обожали ходить с внуком в зоопарк, рассказывали, как живут на воле львы и антилопы... Они умерли один за другим неожиданно: свекровь – от тромба после удаления желчного пузыря; он – от инфаркта, в один год...

Саша оба раза был на Кавказе. Он после первой чеченской совсем забросил диссертацию, познакомился с правозащитниками, вместе с ними искал следы пропавших без вести, ездил опознавать останки, ходил на митинги... Люба хоронила, устраивала поминки... Господи, как давно это было! Как она вообще с этим всем справилась? Бабушка не дала бросить аспирантуру, стала продавать книги. Сначала «Библиотеку всемирной литературы», потом Брокгауза и Ефрона, дореволюционные раритеты... Вера – подруга, сестра – всегда была рядом. Больше, чем сестра. Как они похожи – только Вера, более целеустремленная, всегда знала, что нужно делать. И Любе помогла не растеряться. До развода, точнее, до кризиса отношений, они были неразлучны – Вера, Люба и Саша, благо учились на одной кафедре, но когда всё произошло, Вера стала для Любы главной защитой.

Как она будет в Америке без Веры? Конечно, можно по скайпу разговаривать часами, спасибо технологиям. Но разве это то, что нужно?

Вера – молодец, она замужем второй раз, и родила второго ребенка уже в тридцать пять; теперь дочка – школьница, муж торгует трубами для газопроводов, души в ней не чаёт. Был почти бомжом, когда Вера с ним встретилась. Женщины делают жизнь, всегда говорила Вера. Она права. Люба тоже старалась. После смерти бабушки дом в Вешняках сдала в аренду, теперь там многодетная семья, деньги каждый месяц переводятся Владу в Кембридж. На одну стипендию там трудно. Владик скоро получит диплом юриста, уже готовится в магистратуру, выбрал хорошую тему – страхование иностранного бизнеса в Великобритании. И снова Вера тут постаралась: она работала в министерстве, нашла вовремя стипендию в Кембридж для выпускников языковых школ, Владик поехал учиться в цитадель европейской науки... Встречается с русской там, дочерью известных фигуристов. Она тоже учится на юридическом. Скоро встанет на ноги. А у Любы будет новая жизнь. Жаль, что бабушка не застала... Кто всё-таки был отцом мамы? Почему она никогда о нём не рассказывала?

Снова зазвонил телефон.

– Люба, я ухожу из партии! – срывающийся на крик голос отца. – Они решили поставить памятник Сталину! Убийце! Я уже сказал в нашей ячейке! Как можно ставить памятник убийце в Якутске, где столько людей погибло? Я ползал там на брюхе, я видел незахороненные кости, я никогда не забуду, никогда не забуду... – он закашлялся.

– Папа, папа, успокойся! Римма с тобой?

– Риммочка как раз пошла в магазин, – отдышался отец, – она мне не разрешает нервничать. Но я точно из партии выхожу! Мне с ними не по пути! Коммунизм и Сталин несовместимы, слышишь?

– Папа, я к тебе сегодня заеду. Передай Римме, что вечером непременно буду. И не забудь ей напомнить, чтобы твою последнюю эхограмму подготовила, мы должны в Бакулевский съездить до моего отъезда.

– Хорошо, Любаша, скажу, ой, кажется, она уже дверь открывает, целую тебя крепко!

После трагедии под Виллойском отец долго лечился и как-то резко сдал, перенес два инфаркта, ездить на Север уже не мог, преподавал в институте, где-то консультировал, через какое-то время неожиданно для всех вступил в компартию (до этого считал себя едва ли не диссидентом, презирал коллег, которые ради карьеры стремились в советское время в КПСС), стал ходить на митинги с красными знаменами, ратовал за соединение коммунистических тезисов и христианских. Его бывшая ассистентка, Римма, встретила его на митинге. Риммин сын только что уехал в Хайфу на ПМЖ, она никогда не была замужем, а отца всегда боготворила. Кажется, всю жизнь была влюблена. Лучшей спутницы нельзя было придумать. Римма вкусно готовила, мерила давление трижды в день, напоминала о лекарствах и любимых программах по «Эху Москвы», сопровождала на митинги и с неизменным восторгом слушала рассказы о далеких экспедициях, партсобраниях или давно умерших товарищах-геологах. Римма обещала регулярно звонить по скайпу и присматривать за квартирой Любы, которую она в последний момент решила не сдавать, а оставить на всякий случай – вдруг Владик приедет с девушкой, или Верина старшая дочка решит пожить отдельно от матери с отчимом.

Отца бабушка не любила, считала, что он виноват в том, что мама страдала и вообще рано погибла. Хотела для нее другого мужа, из партийной номенклатурной семьи, но мама влюбилась в нищего студента, сына раскулаченного, и, едва тот закончил политехнический, укатила за ним в Якутию. Плакала от ревности

из-за отца (Люба помнит смутно, сама ревновала), помчалась в Вилуйск, когда написали, что у отца с кем-то из медсестер закрутился роман. Любила отца больше, кажется, чем ее, Любу, так казалось, оттого и придумала ей такое имя. Люба его ненавидела, в начальной школе даже просила называть ее Гелей, типа тоже Ангелина, как мама. На тетрадках писала: Люба-Геля. Потом Саша ей объяснил, что Любовь – имя музы Блока, Любви Дмитриевны, и она тоже должна быть музыкой. Когда к ним приходили гости, просил ее нарядиться в бабушкино платье из тяжелого шелка с панбархатом и сидеть под абажуром в профиль к гостям, сохранились фотографии... Но это еще до Владика, потом всё пошло по-другому... Боже, неужели то всё было с ней?

Она вдруг вспомнила их малогабаритную кухню, запах табака и кофе, неизменные сухарике в миске, разбросанные конспекты, синий заварочный чайник и две кружки с леопардами, подарок свекров. Это было! Несмотря на то, что она хотела вытеснить это из памяти, как будто стереть ластиком... Почему всё-таки они развелись? Из-за того, что приставал к Вере, когда она была с Владиком в больнице? Что назвал ее примитивной курицей, когда Владик лежал с температурой, а Саша собрался на Соловки изучать наскальные записи расстрелянных? Из-за грязных носков в коробке с ползунками? Из-за безденежья; наконец, политики, которая увлекала его все больше и больше, так, что он вообще ее перестал замечать; из-за чеченцев, женщин и детей, которые начали приходить в дом и ночевать, будто бы к себе в саклю, не обращая внимания на нее и Владика, как на мебель? Она не могла вспомнить, не хотела. Не хотела помнить тот ужас обиды и одиночества и пугающее нежелание продолжать жить, соблазн вот так всё разом покончить... Думала об этом ночами (Саша уже редко бывал дома), в ужасе подскакивала к кровати со спящим малышом, впивалась в перекладыны до боли – нет, надо быть тут, с ним, кто ему еще поможет... В какой-то момент поняла: она

должна всё закончить, иначе просто не выдержит, и сделать страшное. На развод он не пришел, прислал чеченского мальчика с заявлением, что не против и претензий не имеет. Судья, увидев изможденную Любу с Владиком на руках и заляпанное заявление, решил всё быстро.

Бабушка на новость не отреагировала никак. И всячески поддержала Любину идею поехать в группе аспирантов в Америку на встречу молодых ученых, взяла Владика к себе. Слушала ее рассказы, качала головой: у нас американцы только в 1930-х были, завод строили. По-русски мало кто говорил, с ними переводчик был, его потом арестовали, вышел уже после войны...

– А вот я возьму и выйду замуж за американца и уеду, ты сомной? – смеялась Люба. – Там тоже коммунисты есть, только больше троцкистов.

– Всё равно вернешься, – уверенно отвечала бабушка. – Ты однолюб.

С чего взяла?

Почему-то она никогда не рассказывала про любовь. Про родных, сослуживцев, ссыльных, про свое детство и комсомольскую юность, про бессонные ночи в шахте, потому что Сталин не спит (наверное, он утром отсыпался, а в Кузбассе уже начиналась смена). Про чужие судьбы и драмы. Про то, как дедушку арестовывали, и ее брат, полковник НКВД, его выручил – через год отпустили, а то закатали бы после аварии как сына старого спеца. (Да, дедушка был сыном управляющего шахт, играл на скрипке, пел «дайте мне за три червонца папу от станка».) И повторяла: «Успей сказать самое важное тем, кого любишь». Что, кого имела в виду?

Кто был Любин настоящий дедушка? Отец мамы? Репрессированный инженер? Энкаведешник, как ее брат? Партийный активист, оппозиционер, агитатор? Простой шахтер? Бабушкины фотографии 30-х она хорошо помнит – хранятся в дальнем ящике:

гордая посадка головы, ясный взгляд, шляпка... Что от нее передалось сочетанием генов? От того неведомого настоящего дедушки? Как мало она знает о том ушедшем мире, как несправедливо, что невозможно уже спросить.

– Нужно будет через год непременно поехать в город Анжеро-Судженск, – вдруг вслух сказала она, и сама удивилась. Повторила уже мысленно:

– Я туда поеду. Летом. На каникулах, – и улыбнулась.

Телефон снова затренькал. Люба с неприязнью посмотрела на экран. Но это было всего-навсего сообщение о том, что в Балтиморе начался рабочий день, она заранее поставила соответствующий сигнал.

Как раньше люди жили без смартфонов? Вообще без связи, бегали к автоматам, выстаивали у почтамтов... Еще недавно так жили все, а теперь... Как быстро забывается всё неприятное, неудобное...

Пришло еще одно сообщение из Балтимора: ее авиабилет направлен на электронную почту, просьба подтвердить.

Люба отряхнула жакет, аккуратно, стараясь не испачкать руки снова, поместила лопату и лейку в тачку и осторожно покатила к выходу.

На лавочке перед воротами, она увидела двух женщин, тех самых недавних попутчиц – «чиновницу» и «пенсионерку – казпешницу». Они сидели обнявшись, раскрасневшиеся, в средней поддатости, и одинаково полутрезво смотрели вдаль, как будто видели там что-то или кого-то. Два пластмассовых стаканчика сиротливо примостились на лавочке, на траве валялась трехсотграммовая фляжка «Курвуазье».

«Как сестры», – вдруг подумала Люба.

Она вытащила телефон, набрала Веру:

– У тебя сохранилась Сашина папка? Про «Петербург»? Подруга после секундного замешательства отозвалась:

– Лежит. – Еще пауза:

– А ты откуда знаешь?

– Он мне звонил, когда улетал в Моздок. Сказал, что у тебя, если что.

– Так и сказал?!

– Да. Не захватишь завтра, я хочу с собой взять, может быть, получится что-то опубликовать там, в Америке в смысле...

– Тогда конечно... Я ее не открывала с тех пор. Слушай, а он правда тебе перед вылетом звонил?

– Ну да. Я сама удивилась тогда.

– Принесу, конечно, – телефон отключился.

Почему, кстати, он оставил папку Вере?

И как странно, что через столько лет так сразу всё вспомнила... В груди шевельнулось что-то вроде давно забытой ревности... Ну так что ж! Значит, она его тоже помнит. Но почему она раньше не посмотрела эту папку?! Точно, надо опубликовать, она сделает это.

Любе стало неожиданно легко и радостно. Она теперь точно знает, что надо делать...

Люба сама не заметила, как прошла остановку, не заметила, что оторвалась набойка на босоножках, что песок натер пальцы, что мимо промчалась уже вторая маршрутка, а до трассы, где можно найти такси, еще километр или полтора.

Она шла по разбитой дороге и улыбалась новой жизни, той жизни, которую она сама себе выберет и о которой еще ничего не знает.

Зина и Этичка

Ровно в половине девятого вечера, в любую погоду, гололед или жару, они появляются на Украинском бульваре, идут сначала по периметру, потом наискосок, по выложенным плитками дорожкам, мимо круглого мостика над несуществующей рекой, мимо бронзовой Леси Украинки с книгой в руке, временами устремляются через дворы в боковые улицы – Малую Дорогомиловскую или Первую Бородинскую, и снова возвращаются на бульвар, вышагивают кругами. Одна – высокая, с прямой спиной и поднятым воротником когда-то модного пальто, беретка, полуседая челка; другая – кругленькая, в разноцветных жакетках, оборках, шляпках и неизменной пестрой шали, заколотой на плече огромной брошкой, семенит, стараясь не отстать, а спутница замедляет поступь. Прохожие их обгоняют. Иногда можно услышать, о чём они говорят.

– Этери, ты снова вышла на каблуках, у тебя же вчера еще разгулялся артрит, – голос низкий, строгий. – Почему не надела «экковские» кроссовки? Мы их с тобой покупали еще осенью.

– Ну, Зинуля, не сердись, у меня и не болит почти, сегодня с утра точно не болело, и потом, понимаешь, вдруг я иду, и мне навстречу, вот прямо тут на бульваре... Я же должна быть на высоте!

– Кто тебе навстречу?!

– Мужчина!

– Какой тебе мужчина? Вон, к тебе Мавританыч выдвинулся.

С лавочки тяжело поднимается благообразный бомж в потертой дубленке: рукава коротки, фетровая шляпа с пером, степенно приближается, приветствует полупоклоном.

– Мадам, бон суар!

– Мавританыч, садись, садись, засуетилась Этери, вот я тебе кое-что на ужин, – снимает с плеча сумку из кожаных лоскутков, достает, как фокусник из рукава, баночки, пластиковый контейнер и полупустую фляжку коньяка.

– Чахохбили без перца, тебе нельзя. Салат. Лобио немножко.

Бомж внимательно рассматривает фляжку.

– Армянский.

– Мишико принес. Тебе нельзя, я знаю, но немножко можно.

– Мерси, мадам, – он подносит два пальца к воображаемому козырьку, – матросы всех прибрежных пабов будут пить ваше здоровье!

Мавританыч (он по паспорту Иннокентий Маврикиевич) когда-то плавал на торговых судах в Индокитай механиком, попался на валюте, оказался крайним. Пока сидел, жена с ним развелась и привела нового мужа, но выписать из ведомственного кооператива не смогла. Он и до сих пор прописал в «двушке» бывшего внешторгового дома, где живет семья нового сына жены с тещей из Ижевска. На бульвар сбежал из интерната, куда его определили родственники после микроинсульта. В холодное время ночует в комнате для инвентаря под мостиком, старшему дворнику платит за это половину пенсии. Мавританычем его первой назвала Этери, и прижилось. Няни, гуляющие с колясками, дворники, рабочие, регулярно снимающие и вновь кладущие плитку, крошащуюся дважды в год, приносят ему вкусенькое, иногда он сам просит сходить за него в супермаркет зарядить телефон и купить кое-чего и, выпив глоток, рассказывает про дальние страны и морские будни. Чаще всего он сидит на лавочке, зимой и летом в засаленной дубленке, кормит голубей, смотрит на опадающие листья или пробуждающуюся траву и тихо что-то напевает...

– Как твоя Сулико? – вступает в разговор Зина.

– Оклёмывается, – вздыхает бомж, – желчный вырезали вчера, скоро обещают выписать, звонила утром. После отбоя обещала

снова позвонить. Он достает из кармана мобильный телефон, довольно новый, подарок, смотрит на экран. – Еще полчаса.

Сулико – туркменка Зулейха – прибились к Мавританычу года два назад, ускользнула от депортации на родину за нарушение режима регистрации. Сыновья ее уехали на Украину и в Литву, раз в несколько месяцев дают о себе знать, а с тех пор, как Мавританыч купил ей телефон, и позванивают, но нечасто. Чтобы отправить ее в больницу, когда случился приступ холецистита, Мавританыч взял напрокат паспорт помощницы дворника в счет будущей пенсии. Пенсию он получает на карточку, успел завести еще до отправки в интернат.

– Привет ей передавай, скажи, когда вернется, я ей чихиртму принесу, ей полезно, – застегивает сумочку Этери. Она готовит еду специально для бомжей, покупает на Дорогомиловском рынке у грузин правильные приправы, знает, что у Мавританыча гастрит, а у Сулико желчный, старается не переборщить со специями. Но никогда не признаётся, даже Зине. А та не спрашивает никогда.

– Передам, мадам, в лучшем виде! Оревуар!

Он приникает к коньячному горлышку и через минуту мурлыкает:

– Мадам, уже падают листья...

Зина шагает дальше.

– Значит, Мишико вчера приходил? – спрашивает Зина.

– Да нет, звонил только. Предложили новую роль, в сериале.

– Снова стриптизера?

– Бармена в клубе. Сериал называется «Рай», сценарий ему не очень нравится, но покажут по большим каналам. Надо соглашаться.

– Ты посоветовала?

– Конечно. Для артиста главное – быть в обойме, когда-то выгорит и настоящая роль.

– Вика что?

– Вика, а что Вика? Ей главное – бабло и чтобы ее картинки были на выставке! И сама на вернисаже, как Барби с губами надутыми, силиконовая кукла. Тьфу! Другие жёны стараются для семьи заработать, а эта только краски изводит, муж и сын – пустое место! – Голос ее задрожал:

– Мерзавка просто. Тварь намалеванная!

– Этя, Этичка, ну успокойся, дорогая, прошу, не надо так...

– Я ее ненавижу! Ненавижу всеми фибрами, никогда никого так не ненавидела, даже дрань Нинку, разлучницу, даже нашего директора-ворюгу... Как жить, Зинка?

– Ну, Этичка, она же мать твоего внука, Мишико ее любит, не заводись.

– Дурак он! Как отец его был дурак, только в другом! Тот гулял и деньгами сыпал, а этот в стриптиз пошел, чтобы ей мастерскую снять, Барби... Как жить, – всхлипывает, – как жить? Я бы ей всю морду расцарапала, но боюсь, к маленькому не подпустит, волчица...

– Успокойся, прошу тебя, дорогая, нервные клетки не восстанавливаются, ты внуку нужна, он будет тебя защищать, подожди еще годков десять, вот увидишь.

– Дожить бы... – Этери достает батистовый платочек с вышивкой, старомодный, тщательно вытирает слёзы, потекшую косметику. – Доживу, вот увидишь! Ей назло! – Топает каблучком о плитку, разлетаются брызги грязи, в лужу попала каблучком.

Идут рука об руку, каждый вечер, в любую погоду...

Иногда обсуждают политические новости – горячо, спорят – отчаянно.

Зина работает в архиве жертв репрессий, ходит на пикеты, собирает вещи для заключенных, в курсе всех событий:

– Вчера у Любы был снова обыск, ворвались в шесть утра, все домашние спят, ребенка разбудили, она сама в ночной рубашке

четыре часа стояла, взяли у всех мобильные телефоны и компьютеры. Потом вернули. Не извинились. Запугивают. Всё равно не запугают, зря стараются...

– Как ты думаешь, художников тоже будут обыскивать? У Вики в мастерской хранят свои плакаты «Синие носы», кажется, даже Павленский, они когда-то вместе выставку делали...

– Не бойся, до нее не скоро очередь дойдет. Есть кого хватать.

– Ты думаешь, начнутся репрессии, как раньше? – волнуется Этя.

– Не начнутся, кишка тонка. Но крови попортят, это точно...

– Как, кстати, Нинон?

Зина недовольно поджимает губы, морщится, даже поднятый воротник, кажется, выражает неодобрение:

– Как обычно. Дает уроки вора и жуликам за хорошие деньги. Совершенно беспринципная. Променяла чемпионскую ракетку на домик у озера. Съемный. Картонный. Из папье-маше.

– Всё-таки озеро – Женевское, вдоль него Ленин с Троцким гуляли.

– Еще скажи, на одной шинели спали, напившись пива, когда узнали о революции. Теперь над озером на горке, за забором виллы, даже крыши не видно, один дым из каминов зимой. Рядом шейх-убийца, вор в законе и сын прокурора, который вора сажал, беглые олигархи и западные зоозащитники, все ладят по соседски, налоги платят. Эксплуататоры! Мерзавцы! – голос ее звенит.

– Набоков тоже уроки тенниса давал, вспомни, Зинуля!

– Набоков никогда не был бронзовым чемпионом Европы среди юниоров. Совести у нее нет. И у мужа тоже. Швейцарец! Нет такой нации, и история у них вся гнилая, лицемерная, только деньги у всех на уме. Потомкам сожженных евреев деньги отдали? Усамы без Ладена! Им всё равно откуда и как. Недавно Нинкин сосед провел эксперимент – пошел с миллионом наличных

в кейсе по банкам, с улицы. Уже в третьем ему пошли навстречу, наплевав на все законы и правила. Положили на счет. Демократы! Сила закона! Вот их верховенство закона!

– Женева красивая?

– Скучный город. Собор хороший, музеев мало, одни гостиницы да бутики. Часы и ножи, шоколад невкусный. Сыр так себе. Сыр в Италии, во Франции – это да... Дороговизна. Наши за продуктами подешевле ездят во Францию. Некоторые знакомые там и живут, приезжают на машинах на работу. Цитадель глобально-го зла.

– Не собираются приехать?

– Третий год собираются. Не тороплю. Захотят – приедут.

Зина осуждает дочь и внуков, не надеется дождаться. Переживает, но никогда не признаётся.

Дочкину квартиру, точнее, свою, полученную в период собственного спортивного успеха, когда вошла в десятку лучших лыжниц Европы, сдает; деньги ей каждый месяц отправляет. Сама вернулась в родительскую «распашонку» на Большой Дорогомиловской, в которой выросла. Все соседи уже другие, кто уехал далеко, кто продал квартиру, или дети продали, всё не то.

И Этя вернулась в район своего детства – поменялась в соседний со своим дом на Брянской – после развода. С сыном и невесткой под одной крышей жить не смогла. Устроилась в детский сад музработником.

– Санька Певцов умер, в «Фейсбуке» прочитала. Ковид. Я его на фотографии не узнала, страшно растолстел. Похоронили уже.

– Одиннадцатый уже? Ты кого-то из наших давно слышала?

– Федька открыл группу в «Ватсапе». Все постят кошек-собачек и внуков. Стали старые и страшные. Некоторые ребята на молодых женились. Пока решила не светиться. Присматриваюсь.

– Расскажи, если будет что-то интересное. Мне пока тоже некогда. Конференцию готовим к лету, семейная память. Жаль, что

Чайкина умерла, у нее была шикарная бабушкина переписка, мы читали тайно; теперь узнать не у кого. Писала деду на фронт, потом в лагерь, он отвечал и в каждом письме говорил, как ее любит, и всегда по-разному... Теперь так не пишут...

Кто из них первым переехал сюда? Кажется, Зина, когда дочка осталась после очередного чемпионата в Швейцарии, Зину не поставив предварительно в известность, что она помнит до сих пор. Или Этичка, каждый раз вытирающая украдкой слёзы, когда они проходят мимо кирпичного здания своей бывшей школы, где теперь индийский интернат и вокруг неприветливые серостеклянные офисные здания?

Зина и Этичка – неразлучная парочка, самая известная в школе на Малой Дорогомиловской. Обе пришли туда, на «Малышку», в шестом классе, сидели за одной партой, даже когда их пытались рассадить, ухитрялись под разными предлогами снова соединиться. И уроки делали вместе: у обеих малогабаритные квартиры; пока родители на работе, забивались на диван у Зины или валялись на подушках на ковре у пианино у Эти, вместо учебников часто читали вслух стихи (Этя мечтала о театральном) или приключенческие романы, а то и что-то неподходящее школьницам, вроде «психологии семейной жизни», и мечтали, мечтали... О том, как будут жить после школы, как вырастут дети – Этя хотела мальчика, и еще мальчика, кудрявых, музыкантов, как ее дядя, аккомпаниатор Москонцерта... Ещё мечтали об Олимпийских играх – Зина с детства ходила в спортивную школу, занималась лыжами.

Учились обе скорее хорошо, но Зине лучше давались история (она иногда ставила учительницу в тупик вопросами) и математика, а Эте – литература. Контрольные они беззастенчиво делали сообща.

Лед и пламень – однажды назвала их литераторша. Дон-Кихот и Санчо Панса – дразнили в седьмом классе, когда Зина после ка-

никул вымахала на десять сантиметров, стала первой по росту, оставив позади мальчишек, а Этина приземистая фигура приятно округлилась, чего она страшно стеснялась и из-за чего комплексовала.

Зина – резкая, прямая, командирша – наставляла подругу, как одеваться (ну зачем эти вечные бантики, рюшечки?), как готовиться к урокам, как шнуровать спортивные кеды, мучила, заставляя крутиться на брусьях и подтягиваться на канате не хуже любого физкультурника. Этя терпела, глотая слёзы, но не перечила. Подруга же, она ведь не со зла. Этя, вообще бесконфликтная, мягкая, всегда старалась скруглить, загладить... Угол и овал, сказал про них школьный поэт.

Друг без друга не могли ни дня, даже на каникулах стремились быть вместе, Зина уговорила родителей летом поехать в гости к Этиной бабушке в Пятигорск, а зимой – к двоюродному брату в Батуми. Разлучались только на Зинины сборы.

– Трудно будет вам, девоньки, замуж выйти, – качал головой Этин отец, – вам так вдвоем хорошо, что и семья не нужна.

Посмеивались, бывало, над ними, над их неразлучной дружбой и подростковой неуклюжестью. Но когда Зина заняла первое место в московской эстафете, в потом попала в юношескую сборную и получила бронзовую медаль в Чехословакии, а Этери аккомпанировала на детском концерте в честь XXV съезда КПСС и ее показывали по телевизору, всё изменилось. Обе, точнее вместе, они вдруг стали звёздами школы. Не только их параллельные девятые, но и десятиклассники вдруг их заметили, все девчонки хотели с ними дружить, и самые видные мальчишки оказывали знаки внимания. Сын монгольского дипломата Суренжавен Энхбаяр стоял перед Этей на коленях прямо в актовом зале на репетиции, умоляя стать его девушкой, а Зине подарил джинсы (неслыханная щедрость!) жгучий Нандо Санчес из выпускного, его отец был боливийским военным атташе. В школе на «Ма-

лышке» учились из иностранцев только самые отъявленные разгильдяи, более приличные дети из анклава УПДК на Кутузовском проспекте посещали школы при американском посольстве или хотя бы престижную английскую возле гостиницы «Украина»...

На вечерах, где крутили скрипящие и плывущие записи из «Крестного отца» и «Генералов песчаных карьеров», у подруг теперь не было отбоя от кавалеров.

Но обе влюбились враз в одного – в новенького (появился уже в середине десятого класса), полусерба Дранко, брутального блондина с классическим профилем и пронзительными синими глазами. С ним они по очереди потеряли невинность вскоре после выпускного, забыв о подготовке в вуз, и плакали, обнявшись, когда он уехал к отцу в Белград, обещая писать обеим, да так и не написал.

Замуж вышли практически одновременно: Зина – за товарища по сборной, Этя – за преподавателя музыкального училища, и родили в один год. Потом жизнь закрутила, переезжали, разводились, снова выходили замуж, и опять не слишком счастливо, растили детей, хоронили родителей... Второй Зинин муж, горнолыжник, разбился на неудачном склоне, а первый Этин умер от сердечного приступа на даче с новой женой, не дождавшись приезда «скорой». Жили в разных концах Москвы, перезванивались редко, случалось, не виделись по году, а то и больше.

Однажды, вскоре после крымских событий, Зина позвонила подруге.

– Знаешь, я видела Дранко, на приеме в офисе ООН, в День защиты прав человека. Он теперь работает в ОБСЕ, приехал с миссией по торговле людьми. Меня не узнал, и я не стала подходить.

– «Жизнь упала, как зарница», – эхом отзывается Этя, – Серёжа Шкаликос пел, помнишь, мы на спектакль его еще ходили в «Табакерку»? Я ведь в него влюблена была в училище, но он на другой женился... Сколько лет уже и Серёжи нет...

– Это Мандельштам. А как будто вчера всё было... Надо же, Сергей Шкаликос приезжал к нам с театром в Спорткомитет, помню... В него все наши девчонки тогда влюбились, и даже Роднина...

С тех пор Зина и Этичка стали снова созваниваться ежедневно, а вскоре и совсем приблизились друг к другу, перебравшись в знакомые с детства места.

Первый раз они вышли на прогулку – прямо к школе. Но в последующие дни, месяцы и годы к ней обычно не подходили. Ничего не напоминало о прежнем, и весь район стал неузнаваем: на месте бараков у Киевского светился рекламой «Макдональдс»; на привокзальной площади, неизменно грязной, заполненной горластыми цыганами, торговками семечками и бог знает чем – киосками с сомнительными пирожками и всяким подозрительным людом, – сверкал огнями навязчивый торговый центр и бил фонтан. Только носатые торговцы цветами, зазывающие в скучные лавки, сменившие вольницу знаменитого рынка, напоминали о том, что криминальный дух окончательно не выветрился и, помимо цветов, тут можно купить всё остальное.

Зина и Этичка дружно осудили произошедшие перемены и, не сговариваясь, решили ознаменовать воссоединение ритуалом – ежевечерним моционом. Не по Кутузовскому, сохранившему внешние очертания, но непоправимо утратившему былую интонацию, не в помпезном пространстве у гостиницы «Украина» (теперь «Рэдиссон»), где когда-то школьниками стояли задрав головы и наблюдали за распускающимися гроздьями салюта и потом собирали гильзы у стоявшей за памятником Тарасу Шевченко установкой. Нет, выбор пал на Украинский бульвар, обезображенный, конечно, истуканом аляповатой фигурой «письменницы» и прочим претенциозным скульптурным новоделом, но таящий в глубине еле уловимые проблески былого. Бывший дом сотрудников Внешторга, где до сих пор прописан Мав-

ританыч, был всё тот же. Знаменитый «Художественный салон», место встречи перекупщиков антиквариата и валютчиков, ушел в небытие, на его месте топорщились продуктовый бутик, демократическая аптека, еще более демократическое интернет-кафе, зубная клиника, эта эклектика радовала глаз. Что до самого пространства и растительного мира сквера – они были по-прежнему прекрасны – неотвратимое переключивание плитки и бордюров, из-за чего приходилось периодически менять маршрут, прыгать по досточкам, пачкаться в грязи, не могли испортить впечатления. Деревья и кустарники, тщательно постриженные дворником и его семейством, дарили прохладу летом, упоительные запахи – весной и щедро осыпали роскошным многоцветием листья осенью. Тюльпаны, анютины глазки и маки на клумбах напоминали о тех днях, когда они по очереди выходили сюда на свидание и сгорали от страсти, ревности и сестринского сочувствия одновременно.

Трое мальчиков из их и параллельного классов (классы были тогда большие, в общей сложности 78 человек гуляли на выпускном!) погибли в Афганистане, четверо умерли от водки и стресса в 90-е, одна девочка сошла с ума, одна утонула, двоих погубил рак... На встречи выпускников обе не ходили никогда.

– Ты боишься старости, Зина?

– Чего ее бояться? Она как зима, не спрячешься. Главное – чтобы на ногах и при памяти.

– А я боюсь... Боюсь совсем сморщиться, боюсь, что шейка бедра сломается, что крыша поедет, как у бабушки...

– Ну, Этя, ты неисправима, – гнусавит Зина. – Движение, и еще раз движение! Сладкого не есть! На ночь – рот на замок. Ты же знаешь!

– Да, покорно соглашается та. – Но не могу удержаться, весь день стараюсь, а перед сном такая тоска иногда нападет, пока не съем пирожное, не засну. Пробовала. Пирожок – лучше таблетки, вчера съела, себя проклиная, а спала как младенец, до восьми...

– И потом, срок жизни увеличился вдвое – те, кто сегодня в школу ходит, будут жить до ста лет, наука говорит. Британская.

– Я не хочу до ста!

– Этя, Этя, пусть не до ста, до девяноста. Надо больше шевелиться! Вот что ты снова ноги волочешь? Надо выше колени поднимать и спину прямее, вот так...

Они удаляются, продолжая разговор, высокая и прямая, и маленькая, кругленькая, в смешной накидке, стянутой брошкой... Зина и Этичка. Мои одноклассницы.

Храни их господь.

Хроники
Светлого пути

Памяти Фёдора Сизого

Забытая сумка

Сумку полуспортивного типа с символикой Московской Олимпиады – 80 нашел инвалид Тиграныч, по прозвищу Смотритель. Молодые дачники думали, что причиной ему была черная повязка на глазу, как у Кутузова, и втайне осуждали поселковых за жестокость. Но дело было в другом. После смерти жены Тиграныч начал оказывать знаки внимания стрелочнице Любе – она напоминала ему первую школьную любовь, такая же ладная, бойкая, смешливая. Понимал, что шансов нет, разница в возрасте, да и жених у нее машинистом в метро, возит ее в отпуск к морю. Но ему было приятно приходить в каптерку-скворечник, возвышающуюся над путями, пить чай с вареньем, слушать о ее братьях, служащих на флоте, ее подругах и их делах и пересказывать последние газетные публикации и приключенческие книги, которые любил в детстве, а в последние годы с удовольствием стал перечитывать. Люба и ее сменщица слушали, затаив дыхание, а Тиграныч зорко следил, чтобы не пропустили очередной поезд, вовремя опускали шлагбаум на переезде и высовывали в окошечко сигнальную палочку, иногда даже сам за них выполнял эту нехитрую работу.

– Наша палочка-выручалочка, – смеялась Люба.

– Нет, сударыня, ваш станционный смотритель, – расшаркивался тот. – Всегда к вашим услугам!

– Это как? – не поняли девушки.

– Ну, буду присматривать за порядком на станции, вам в помощь. Лед поколоть, чашки помыть, ну и всякое.

На следующий день он принес в каптерку «Повести Белкина», читал вслух, прерываясь, когда Люба выбегала встречать очередной поезд. Она плакала и смеялась.

Так Тиграныч стал Смотрителем. Он приносил крыжовник и малину из своего сада к чаю, свой фирменный пирог со смородиной и непременно – книжки из дома или из поселковой библиотеки, где имел постоянный абонемент.

Вскоре Люба уехала к жениху в другую часть области, а Тиграныч переместился из «скворечника» стрелочниц, который перенесли на соседнюю станцию после постройки эстакады, на платформу.

Каждый день, позавтракав, он ковылял, подволакивая ногу, к станции, приветствовал кассиршу и киоскершу, знакомился с содержанием свежей прессы и занимал наблюдательный пункт в крытой части платформы на лавочке. Комментировал изменения в расписании и сообщал о близящихся дорожных работах по Горьковскому направлению, напоминая о сбое в движении поездов и новых маршрутах, делился почерпнутыми из газет новостями и тысячей других полезных сведений; советовал, когда лучше заняться посадками корнеплодов или подрезкой деревьев... Следил, чтобы на платформе не сорили, окурки и фантики выбрасывали точно в урны, в дурную погоду помогал очистить перрон от наледи и снега. А также – добровольно осматривал две ежедневные и четыре по выходным электрички, маршрут которых заканчивался на станции, садился, когда все пассажиры покидали вагоны, и отправлялся в тупик – помочь уборщицам, разбудить заснувшего ненароком, проверить, целы ли сиденья. Однажды даже помог задержать преступника, находящегося в розыске, за что получил почетную грамоту и премию – десять тысяч рублей – от линейного отдела. Преступник, то есть загулявший и не отметившийся после освобождения вовремя в родном селе Владимирской области карманник громко храпел, распространяя дух дешевого алкоголя, и на попытки Тиграныча его растормозить отвечал громкой руганью и маханием конечностей. Тиграныч вызвал по вагонной связи машиниста и его помощника,

вместе с ними дождался полицию и сдал нарушителя с рук на руки. Другой случай, прославивший Смотрителя – оброненная в час пик борсетка с дорогим телефоном и кредитными карточками, которые были в целости и сохранности возвращены владельцу. В знак благодарности счастливец подарил тогда кнопочный аппарат.

Сумка с олимпийской символикой аккуратно лежала на последнем сиденье последнего вагона, у окна. Настоящая кожаная, коричневого цвета, почти не потертая – видимо, бережно хранилась все эти годы. Таких уже давно не делают, старая модель. Он растегнул молнию. Никаких признаков хозяина, только пенал, в котором шариковая ручка допотопного образца, под стать сумке, трехцветная, циркуль с заточенным грифелем (когда видел его в последний раз?), потрепанная книга «Повести Белкина» из «Школьной библиотеки» и бледная машинопись, скрепленная пластмассовой прищепкой. «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева. Тиграныч улыбнулся. Он знал наизусть почти всю поэму Венечки, часто декламировал ожидающим поезда пассажирам, участвовал в обсуждении произведения в поселковой библиотеке, куда из Орехово-Зуева приезжали студенты педагогического института. Рассказывал, как бывало в поездах Горьковского направления в застойное брежневское время – новая библиотекарша была помешана на устных историях и собирала материалы для музея повседневности советского быта. Она часто приглашала Смотрителя на кофе, от которого он вежливо отказывался, и спрашивала о самом разном. Тиграныч с удовольствием рассказывал, что ели, как пили, какие анекдоты рассказывали, о чём спорили. Библиотекарша удивлялась и строчила в планшете, параллельно записывая на диктофон, как будто боялась растерять бесценные крупички необычного знания.

Она была поклонница Ерофеева, пыталась писать диссертацию о его жизни и творчестве, проверяла на Смотрителя, пра-

вильно ли поняла прочитанное. Тиграныча огорчало, что их станцию Венечка благополучно проспал, приняв на грудь в деревне Обираловка, она же город Железнодорожный, и никаких интересных заметок по ее поводу не оставил.

Кофе он не пил после ранения. И водку тоже – после первой же рюмки начинала болеть голова и утраченный глаз, и во сне снова погибали его товарищи.

В армии он был совсем недолго, сразу по прибытии в Афганистан их роту отправили на подмогу штурмующим село с «духами», его ранило в первые же часы, тяжело, в ногу и в голову. Вся рота погибла через несколько часов. Точнее, уцелел, кроме него, только один, тоже из Подмосковья, бывший студент, отчисленный с филфака за распространение запрещенной литературы; он цитировал новобранцам в учебке «Москву-Петушки» и «Зияющие высоты». Студент сопровождал цинковые гробы товарищей к их родителям, пока Тиграныч лечил последствия ранения, они потом переписывались, но недолго – парень погиб от передоза, на наркоте подсел еще в Афгане, там это было просто... А Тиграныч медленно поправлялся и смотрел одним глазом трансляцию Олимпиады в Москве, видел на крошечном мигающем экране телевизора в лазарете парящего в воздухе мишку – символ Игр, цветные трибуны, ликующих зрителей, поднимающихся на пьедестал наших спортсменов, и никак не мог понять, почему его душат слёзы, когда звучит советский гимн.

Задумавшись, он не заметил, как электричка тронулась, пропустил и свою станцию, и следующую и вышел уже на узловой. Сумку повесил на плечо. Воспоминания об Афгане, о покойном отчине Тигране – подпольном торговце паленой водкой, от нее же погибшем вместе с зятем в девяностые, и о многом, о чём уже не вспоминал давно и, кажется, вообще уже не помнил, сдавили сердце. Он присел на лавочку, еще раз перетряхнул сумку. Из бокового отделения выпала школьная тетрадка, исписанная мелким

почерком. Стал читать. Какие-то истории, вроде бы знакомые, но отдаленно. Тиграныч вздохнул, тяжело поднялся и стал ждать электричку назад.

В тот же вечер его увезла «Скорая».

А через неделю общество ветеранов Афганистана провожало товарища в последний путь. В завещании он, в том числе, попросил отдать книгу и машинопись в библиотеку, а сумку и тетрадь передать в районную газету.

Там, в редакции, первокурсник Даниил, досадуя на судьбу, засунувшую его эту дыру, наткнулся на нее, разбирая вываленный из сломавшейся тумбочки хлам. Сумка показалась ему прикольной – вспомнил про отцовского приятеля-коллекционера, гонящегося по всему бывшему советскому пространству за артефактами времен Московской Олимпиады. Тетрадку начал читать из любопытства – никогда не видел рукописных заметок, но увлекся, и даже опубликовал несколько со своими комментариями в районке, куда неожиданно стали приходить отклики: читатели вспоминали события или, напротив, обвиняли автора в очернительстве славного прошлого. Больше тетрадку в записями никто не видел. Может быть, Даниил забрал ее с собой в Москву. На следующий год он укатил на долгожданную практику в Лион, о чём мечтал еще в специализированной гимназии с гуманитарным уклоном.

В конце второй волны ковида осевшая, как многие в эту пору, в поселке дачница – переводчица детских книг – показала соседям, также маявшимися на удалёнке, публикацию на французском языке в престижном онлайн-издании: молодой русский писатель опубликовал на французском фрагменты будущего романа, основанного на хрониках несуществующего «советского острова», чудом сохранившегося в XXI веке. Критики благосклонно сравнили его с «Островом Крым» Василия Аксёнова и новым романом Егора Грана, который можно читать с последней главы до

первой так же удачно, как и с первой до последней. А российский патриотический канал выступил с резкой критикой того, как молодежь забывает родной язык и потекает чуждым вкусом.

Что-то в сюжетах и героях показалось переводчице смутно знакомым; по просьбе соседей она воспроизвела текст на русском, внося некоторые коррективы по собственному вкусу. Кто-то разместил продукт интерпретации в чате поселка. Тут и вспомнили про Тиграныча и потерянную в электричке сумку. Правда, сетовали некоторые, история загадочного поселка, отраженная в записках, обнаруженных Смотрителем, в оригинале больше походила на лирическую сагу, а не на абсурд и хоррор и вообще была лишена современной грубости и реверансов политической корректности, которые нарушают историческую правду и вообще запутывают читателя. Другие возражали: правда всегда относительна, и наше представление о былом всегда несет печать современности, и вообще читатель – тот же творец, что считает нужным, то и слышит. Посыпались взаимные обвинения и упрёки; но их успокоило неожиданное предложение: продолжить сюжет, дописать собственную версию развития событий, какими они могли бы быть.

Это, кажется, решила библиотечка.

Светлые дали

В одном подмосковном поселке отключили электричество. То есть подобное случалось и раньше, но ненадолго, а тут – всерьез, на целые десять дней. Поселок, носящий последние лет пятьдесят неброское имя «Светлый путь», мало чем отличался от десятков соседних, и беды его обитателей также были всем соседям знакомы и понятны.

В магазине обсчитывали, мусор неделями не вывозили, и бродячие собаки растаскивали залежавшиеся объедки по давно не мощеной дороге к шоссе, вороватый глава администрации распродал под коттеджи местной братве почти весь окрестный лес и подбирался к самому красивому месту – березовой роще у реки. Местный поэт-деревенщик печатал в районной газете печальные строфы о роще и горьком уделе обманутого селянина, прочие поселковые попивали водку неясного происхождения в магазинном предбаннике, преобразенном, как сообщала картонная вывеска, в рюмочную «Куршавель».

Свет погас как раз накануне Рождества, когда «Светлый путь» одолевала тяжелая похмельная дремота. Вот тут-то и начали происходить удивительные вещи. Наутро после Христова дня светлопутинцы начали высовываться на улицу и изумленно оглядываться по сторонам. Не выдавший белого света с завершения дачного сезона бывший десантник Прохорыч удивился вслух: когда из ящика ни Собчак, ни Лолита, ни Жириновский не маячат, то и похмеляться не тянет. И пошел пешком в райцентр искать мусоросборник. «Куршавель» пришлось закрыть – поступления паленого напитка прекратились из-за сбоя в технологической цепи, в предбаннике воцарилась пушистая елка. Продавщица призналась, что продавала отраву по указанию главы администрации,

который и крышевал подпольный цех вместе с братками, с ними же растратил и три транша на ремонт дороги. Тут жители вознегодовали и собрали поселковый сход, завершившийся коллективным изучением законодательства, а также вполне грамотными обращениями к прокурору, губернатору и даже в Москву.

Об этом поэт написал лихие восемь строк, из которых новопутинцы запомнили больше всего слова

«Разуй глаза, святая Русь!
Проснись, стяхни с очей дремоту!»

Короче говоря, началась в «Светлом пути» другая жизнь. Дорогу заасфальтировали, магистральный газ бесплатно провели, библиотеку отремонтировали, вместо с позором изгнанного коррупционера в мэры выбрали молодого и образованного, и наказания жителей вывешивали на новом пластиковом щите у администрации. На волне народной активности сумели перевооружить старую электростанцию и даже протянуть телефон. Было это ровно четыре года назад. Некоторые старожилы считают, что именно особое сочетание звезд, сопутствующее високосному году, и обострило тогда гражданские порывы жителей, побудило искать справедливости и исполнения закона у себя дома, не рассчитывая на чью-то постороннюю помощь и вообще почувствовать себя людьми, а не быдлом. И, конечно, не умолкнувший телевизор тому причиной, а то, что любая неожиданность, нарушающая привычную суету, может дать импульс самостоятельному размышлению о собственной жизни и обстоятельствах, ее составляющих. Положить начало новой, более достойной и осмысленной жизни, которую мы сами, сегодня, сейчас можем и должны на самом деле творить и улучшать, не дожидаясь понукания или подсказки. Просто мы не привыкли об этом думать, не привыкли верить в успех. Не привыкли говорить об очевидном. Может, стоит попробовать? Чтобы хотя бы детям смотреть в глаза без смущения –

за то, что в подъезде не убрано, что батареи слабо греют, что в учебниках вместо Пушкина и декабристов поселились какие-то неожиданные персонажи и еще более удивительные версии развития нашей культуры и истории, да мало ли что еще.

Кстати, о «Светлом пути». Там сегодня всюду кипит стройка. Новый и продвинутый глава вошел в партийный список и недавно отменил сельские сходы за недостатком времени – у реки бурными темпами возводится культурно-развлекательный центр молодежного движения, рошу вырубил, а активисты движения в перерывах между учебными митингами торгуют в новом бистро «Наш путь – в Сочи 2014» фирменным напитком «Светлопутинка». Производство которого, кстати, недавно было признано основой экономического развития района и дало пищу кандидатской диссертации главы – по совместительству владельца торговой марки. Поэт и бывший десантник ведут кружок истории региона в библиотеке (говорят, что к ним собираются примкнуть старшеклассники из соседних школ), читают стихи и изучают опыт перестройки.

Недавно я снова побывала в поселке и повстречалась с бесменной библиотечаршей, она с радостью напомнила о том, что 2008 год – опять високосный.

– Чему радоваться-то? – не поняла я. – Многие, напротив, страшатся новых катаклизмов, вспоминают о бедах, катастрофах и терактах, которыми именно такие годы отмечены, как будто уже ожидают новых напастей.

– Ну, напасти и в другие годы случались, – возразила она, – не в этом дело. Дело в том, что беда и унижение часто приходит именно тогда и к тому, кто их больше всего боится. И чем больше страха у людей, тем хуже напасть. А главное лекарство от страха – это надежда. И чем больше ее у людей, тем строже они относятся сами к себе и стараются сделать жизнь лучше. Я верю, что 2008 год будет для нас всех временем не страха, а надежды.

И я не могла с ней не согласиться.

«Дурки» и Елисей

Широко Подмосковье. Много рек, озер, наукоградов и иных стратегических центров на своей территории пригрело. Казалось бы, каждый сантиметр вокруг Первопрестольной освоен, а всё равно нет-нет да и наткнешься на неожиданный островок то ли из прошлого, то ли из самого настоящего будущего.

Вот, к примеру, неподалеку от посёлка Светлый путь, ныне известного более всего одноименным напитком (который втихаря недавно стали заново производить вместо лицензированной «новопутинки» и продавать из-под прилавка в придорожных киосках вдоль бывшего Владимирского тракта), напрямик через некогда знаменитую на всю округу свалку, где ныне высятся элитные башни жилого комплекса, расположился посёлок Дурная Грязь. В обиходе – «Старые дурки». Когда-то, еще в советское время, в этом самом поселке располагался интернат для даунов.

Местные помнят: жил тут же, уже в своем доме, построенном из собранной на свалке ветоши, местный псих, бывший летчик, который, согласно легенде, катапультировался как раз над Грязью во время Великой Отечественной и которого выходила местная глухонемая.

Умер он уже в перестройку, но в доме оставались не то дети, не то жёны, потом приехали какие-то иностранцы, срубили церковь-то ли православную, то ли протестантскую. А когда тамошний интернат благополучно расформировали, а о постояльцах забыли, стали эти странные люди ухаживать за даунами, за прибившимися бомжами и наркоманами.

Нетронутым оставался только бетонный забор, которым некогда предусмотрительно огородили приют печали. С тех пор туда

никто особенно и не захаживал, хотя замечали, что дым над забором в зимнее время поднимается всё бодрее, и топоры стучат, и деревья новые подрастают. До тех пор, пока молодой корреспондент «Светлопутинского вестника» Елисей на редакционном «хаммере» не попытался разведать – а что же происходит по соседству, совсем рядом с могучей автомагистралью, соединяющей матушку Москву и Нижний Новгород?

Приехал, отворил незапертые ворота – и обомлел. За забором терема стоят рубленые новехонькие, баньки да склады, лесопилка рычит, какое-то еще производство, современный молокозавод, дауны (или бывшие наркоманы?) в стерильных комбине зонах разъезжают на компьютеризированных комбайнах, собирают продукцию, пакетируют автоматически, кругом чистота, как в операционной. В центральном тереме – офис, всё считает компьютер, мировые биржевые бренды на стене мелькают, показатели прибыли «дурак» высвечиваются отдельной строкой. Зашел в клуб, а там – современный мультимедийный центр и телестудия, дети поют, взрослые читают вслух на разных языках притчи народов СССР и Льва Толстого и вспоминают про того самого блаженного, который, оказывается, последним бомжам и алкашам помогал.

Заглянул журналист и в церковь. Все молятся по-своему – кто в кипе, кто в тюбетейке, кто в платке по-православному. А священник – баба. Изумился Елисей, на что ему говорят: «Так у нас ведь всё тут по-дурачки, на нас все давно плюнули, думали, что помрем. Ан живы. Справляемся, как можем. Посмотри, может, что посоветуешь». Елисей ногой топнул, мобильником потрянул – мол, так жить нельзя, надо быть вместе со страной и ее единой партией, не прятаться от трудностей экономического кризиса и глобальных проблем. И вообще, помочь государству своим потенциалом, коли имеете, даже если и сектанты. А тут ему навстречу выходит красна девица с косой до пояса и говорит: ты бы

лучше, молодец, подсказал, как нам всех дураков да алкашей никчемных к себе собрать, и деток брошенных заодно. Мы их прокормим, главное, чтобы разрешили, а то пропадут. Ваши-то, чай, государевы люди, не справятся. И за ней – целый выводок, мал мала меньше.

Только тут Елисей понял, что эта девица и читала молитву в облачении. Застрял комок у него в горле, не стал он возражать. И «хаммер» свой заводить не стал. И вообще, остался добрый светлопутинский молодец в поселке, придумал учить безродных малолеток искусству публицистического слова, в оставшееся время помогает бывшим наркоманам собирать элитную мебель из подручного материала, прислуживает в храме и мечтает жениться на девице-красе. И о том, чтобы написать обо всём увиденном и пережитом в родном вестнике, между прочим, подумывает. Хотя считает, что время для этого пока не наступило, – может, в будущем году пора придет, чтобы поняли поселковые, в чём их заблуждение. Поймут, конечно.

И вообще – у нас всё впереди. Главное – верить в то, что будущее, как и настоящее, – в наших собственных руках. И в силе любви, конечно, как и в собственной совести.

Недавно из Светлого пути поступило свежее сообщение – Елисей всё же написал материал в родную газету о предпринятой экспедиции. И не просто рассказал об увиденном – приложил к живым строкам о невыдуманных впечатлениях развернутый план работы по выведению из системного экономического и ментального кризиса одного конкретного поселка. Причем без каких-либо чрезвычайных мер, привлечения крупных инвестиций или импортных менеджеров – исключительно с опорой на собственные ресурсы. При этом человеческий фактор, как рассказывают, поставил во главу угла. Больше того – для каждого из четырнадцати с хвостиком тысяч светлопутинцев предусмотрел индивидуальный план развития, в чём видел основу будущего процве-

тания поселка, преодоления коррупции, пьянства, нетерпимости к мигрантам и вообще всех социальных бед. И обещал прислать продолжение после того, как освоит новый метод реабилитации трудных подростков – как раз пяток малолетних скинхедов привезли в «Дурки» на днях.

Говорят, в редакции сначала схватились за голову, потом зачитались, в конце концов решили напечатать Елисеев трактат в несколько приемов, дабы дать возможность поселковым подумать о прочитанном, а заодно и поделиться собственными мыслями.

Манин сон

Все свои 47 лет Маня Весточкина прожила в поселке Радуга в ближнем Подмосковье, чуть в стороне от бывшего Владимирского тракта, ныне Горьковского шоссе. Примерно там, где, согласно преданию, московские купцы по дороге на Нижегородскую ярмарку расслаблялись, миновав лихую деревню Обираловку, перед которой сбивались в кучу (отсюда – станция Кучино) и готовились к омовению в волнах мирного Бисерова озера (станция Купавна), перед тем как насладиться здоровым сном на постоялом дворе в Храпуново (соответствующий населенный пункт).

Радуги в ту пору не было, хотя поселок возник еще до Великой Отечественной, позднее с трех сторон к нему примкнули военные части, на ограде одной красовались якоря, на другой – спутник, на третьей – летчик в кабине истребителя. Маня работала на поселковой почте, как и ее мать и бабушка, бывшая фронтовичка-санинструктор, выходявшая разбившегося в лесу над «Радугой» советского летчика.

Летчик поправился и уехал к семье, но бабушка никогда его не осуждала и радовалась редким письмам и подаркам для дочки, а когда в день

30-летия Победы седовласый ветеран приехал в поселковую школу и поднял Маню на руки, снимок попал не только в районную, но и в центральную прессу. Летчик же оставил Мане тетрадку воспоминаний о войне, которые совсем не походили на казенные параграфы учебника истории и которые она выучила наизусть. И стала собирать потихоньку воспоминания других ветеранов, переживших разное, переписываться – благо работа на почте позволяла – с их родными со всей огромной страны задолго

до того, как об этом начали писать в газетах. А уж когда начали – Маня с ее записями людских исповедей стала автором сразу в нескольких изданиях, опубликовалась даже в «Огоньке».

К тому времени ей помогал уже муж Артур. Высокий кареглазый матросик каждое увольнение прибегал на почту отправить письмо матери в Баку, рассказывал Мане о чудесном городе-саде, где поют на разных языках и где они будут счастливы. Правда, в Баку Маня так и не попала – сначала родился сын Ланселот (они не думали о другом имени для первенца), а потом в Баку началась резня, мать Артура умерла от инфаркта, сестра с мужем-азербайджанцем и грудным ребенком, бросив дом, бежали в Радугу, и Артур, мечтавший об историческом факультете, остался в части – всё-таки обещали квартиру. В октябре 1993-го он позвонил Мане (она как раз узнала, что снова ждет ребенка) и сказал, что их отправляют в Москву, защищать Белый дом и он будет через пару дней. Больше они не встретились. Сама Маня вместе с соседкой также поехала в Москву – защищать демократию. Но им не повезло – прямо на Курском вокзале увидели, как милиционер бьет подростка с красным флагом в руках, бросились на выручку, но милиционер был не в духе, замахнулся дубинкой и попал Мане в темечко. Подросток и соседка дотащили ее до «Радуги», положили в кровать, но Маня не реагировала на слова. Не задышалась, не стонала, дышала ровно, как будто ее охватил глубокий сон.

Так прошло без малого 18 лет.

...Очнулась Маня от холода. В комнате дуло, сквозняк явно был лишним. Маня поежилась под пухлым одеялом и чихнула. Кудрявый подросток оторвался от компьютера за столом и повернулся, без тени удивления поздоровался.

– Вот и хорошо, что вы, мама, проснулись. Как раз должны на вас пенсию принести. Вы только поосторожнее, я тут наглядную агитацию сушу.

На полу действительно лежали тряпочные транспаранты с надписями «Обама, кончай давать марихуану», «Единая Россия – наш рулевой», «Молодогвардейцы, покончим с незаконными мигрантами». Маня протерла глаза.

– Я ваш сын, мама, меня зовут Пересвет. Как воина, который отстоял доблесть России пред басурманами. Подождите, сейчас будет важное сообщение. Прямая трансляция.

Он повернулся к компьютеру. На экране появилось знакомое изображение зала заседаний Думы, замешательство в рядах депутатов, потом дикторский голос объявил, что Дума отказалась почтить минутой молчания память Егора Гайдара. Маню замутило. И тут на экране появился Ланселот – точнее, комментатор Ланс Благовестов, благообразный такой, с бородкой – и заговорил о соборном начале русского человека, которому чуждо всё инородное, тем паче демократическая ересь, а также о мощи национального продукта.

Маня аж привсталась. Оторвавшись наконец от экрана, она и не заметила, как накинула что-то на себя и выскочила на улицу. Но родной поселок было не узнать. В здании школы – сауна с отдельными кабинетами, на месте парка – гипермаркет, в бывшем сельсовете – рюмочная, мужики лыка не вяжут, а по обочинам дорог, которые как были в колдобинах, так и остались, – сплошь иномарки стоят да новые коттеджи одинаковой конструкции. Ворота в летнюю воинскую часть настежь – и приглашение на дискотеку. Зашла на почту – стоит, родная, принимает платежи и газеты так же, как раньше, продает, правда, мало кто интересуется. Зато наглядная агитация на стенах – закачаешься. Тут тебе и нацболы, и черносотенцы, и нашисты. Маня заинтересовалась было, но тут подоспел Пересвет с товарищами и доктором, поволокли домой, сделали укол.

Маня забылась сном – правда, уже другим, светлым, и снилось ей, как в родной Радуге восходит яркое солнце и выходят люди

на работу поутру, радостные и полные сил, исполненные надежды, как зеленеют окрестные поля и дети бегут в школу, как справедливо судит-рядит сельский глава и какие разумные решения принимают серьезные мужчины и женщины в далекой и близкой Москве, на Охотном Ряду... И рядом с ними, в парадной форме, стоит ее Артур, готовый защитить это разумное государство и отдать за него жизнь, если надо.

И тут она проснулась. Было тихо. Курчавый отрок Пересвет сопел на своей кушетке, забыв отключить компьютер, где беспребойно вещали что-то про растущую мощь. Обошла дом, небедное жилье – нашла фотографию Артура в траурной рамке, фото родителей; в заветном ящике – дедову фронтовую тетрадь... И поняла, что проснулась окончательно.

Нашла в чулане свою старую одежонку, побросала в сумку старый паспорт, дедову тетрадку, пачку старых газет, перекрестилась – и затворила дверь. На почте горел свет, сторож узнал и открыл дверь.

Маня села на свое старое место у окошка. Она точно знала теперь, что надо делать. Именно здесь и сейчас, на том месте, где родилась. Даже если проспала почти двадцать лет. Еще не поздно. Да и вообще, помогать людям, будить в них совесть и напомять о самом простом – не поздно никогда.

Дай, Маня, тебе сил! И нам тоже.

Цыган

Ваньку Цыгана подбросили к воротам воинской части в рождественскую ночь. Нашла его уборщица Валюшка Убогая. Это была ее настоящая фамилия. Вновь прибывшие в часть только качали головой: как такое имя оказалось у колченогой, с трясущейся головой, несчастной, и мало кто знал, что Валюшка когда-то была статной красавицей, отличницей Ташкентского мединститута, что по комсомольскому призыву поехала в Афган медсестрой вместе с любимым, военнослужащим-срочником...

Валюшка собиралась к заутрене рано, до пяти, чтобы успеть обернуться к побудке, и, отворив ворота, споткнулась о сверток. Пнула его ногой – бросают тут всякое! – а из свертка раздался слабый писк. Позже врачи говорили, что, соберись она на богомолье часом позднее, ребенок замерз бы окончательно. Но младенец проявлял редкую жизнестойкость, пил молочные смеси за троих и набирал в весе, тараща черные глаза на непривычную действительность. Сдавать его в областной Дом малютки Валюшка категорически отказалась, заявив, что этого младенца Спаситель послал ей взамен потерянного во время контузии в Афгане неродившегося ребенка, и хотела было назвать Иосифом, но командир отговорил – и назвала Иваном, а отчество дала по имени погибшего суженого – Виленович.

Командир удвоил ей довольствие, подарил цветной телевизор и видеомагнитофон, который она поставила на тумбочку напротив детской кровати в своей каптерке у КПЧ части. Любимым фильмом Валюшки был советский мини-сериал «Неуловимые мстители». Остыв от работы, она включала кассету и комментировала. И вот как-то раз, когда Цыган должен был очередной раз

сплясать перед белогвардейцами, в каптерке вырубили свет, а трехлетний Ванька вскочил с постели, растопырил руки и выдал такое, что артистам мало не покажется. Пацан даже спел поцыгански, во весь голос, с улыбкой во весь рот. Тогда и поняли – ни дать ни взять цыган! Глаза-то вон какие черные, и кудри выются...

Прозвище так и прилипло.

Танцевальные способности Ваньки заметили и в школе – приезжала педагог из Москвы, тянула за ноги, говорила, что – как у Цискаридзе, звала в училище, но Валюшка не пустила. Педагог оставила видео с танцами народов мира, и Ванька упражнялся ежедневно – сначала в каптерке, а потом и дома у учителя географии, старика Тумберга, шведа по происхождению, бывшего узника сталинских лагерей и большого поклонника музыки.

Там, у Тубмерга, он оказался и в тот злосчастный вечер, когда случилась беда. Братя главного поселкового бандита Хоря выносили из части оружие – этим опасным товаром они почти открыто торговали на рынке, который Хорь крышевал. Обычно их пропускал кто-то из входящих в долю. Но на этот раз что-то сорвалось – на их пути оказалась Валюшка Убогая, которая никак не понимала, что в ее же интересах не заметить братков и тем более не бить тревогу...

Вызвать дежурного она всё же успела, но осталась лежать у ворот с проломленной головой и через сутки, не приходя в сознание, скончалась.

А через несколько дней сторел весь рынок Хоря. И оба брата бандита вскоре погибли как-то странно – одного нашли у железнодорожной насыпи со сломанной шеей, другого – на местном кладбище, у свежей Валюшкиной могилы, задушенного, с ворованным «калашом» в руках. Дело о краже оружия замяли, а когда хватились Ваньки Цыгана – не нашли нигде. Даже Тумберг не знал и сильно горевал без юного друга, к которому очень привязался.

...Все эти сюжеты почти забылись в поселке, военную часть передислоцировали. Тем временем жена Хоря, ставшего, между прочим, главой администрации района, начала масштабное строительство элитных коттеджей, в здании школы открыли сауну с VIP-кабинками, рынок разросся в трехэтажный торговый центр. Другими словами, жизнь ничем не отличалась от происходящего в сотне или даже тысяче других населенных пунктов Средней полосы. До тех пор, пока в поселок не приехал иностранец – шведский бизнесмен Йохан Убогсон – и не приобрел в собственности самый большой дом – бывший поссовет – у наследников председателя.

Первым делом он наведалься в сауну и каждой из «банных девушек» нашептал нечто такое, что тех как ветром сдуло с боевого поста, зато каждый божий день их видели по дороге к дому Йохана, в наушниках, что-то тщательно выговаривавших по-иностранному. А вскоре владелец сауны непостижимым образом потерял все деньги в трех банках – их кто-то успел снять через интернет. И кубышка на потайной даче оказалась также разорена. Та же участь постигла и основных клиентов сельского борделя, и бизнес супруги Хоря; самим же «авторитетом» вдруг заинтересовался не то что прокурор, а Интерпол – оказывается, в дальние годы он продавал оружие исламским террористам. Начались проблемы также у местного прокурора, у начальника райотдела милиции, у вороватого директора торгового центра...

Зато на местном кладбище появились два роскошных надгробия: у Валушки – из белого мрамора, с православным крестом, а у Тумберга – из черного, со строгим протестантским. Тут-то и вспомнили про Ваньку Цыгана. Хотя никто о нём ничего не слышал много лет.

Йохан тем временем развернул кипучую деятельность: приобрел здание бывшей школы и открыл там студию танцев и курсы блогеров имени Лисбет Саландер, протянул интернет во все дома,

а местных хулиганов за скромную плату переформатировал в социальных работников – ухаживать за одинокими стариками. Бизнес разорившейся Хоревой жены он перекупил, разбил на месте полигона парк, а в торговом центре открыл бесплатный детский сад.

Вот такой чудак. Нет, он, конечно, никакой не Ванька Цыган, что бы ни говорили старики (да они и сами сомневаются) – такой кудрявый черноглазый швед с летящей походкой, легко раздающий деньги бедным (как заметила одна старушка – ну прямо святой Николай). А дети подхватили и зовут его просто – наш Йохан-Клаус. Особенно – перед Новым годом...

Так и живут.

Следопыт

О том, что влюбилась, Серафима Германовна догадалась случайно. Серым ноябрьским утром она шла, как много лет уже, неровной тропинкой посреди тощего сквера от Дома учителя к поселковой почте, аккуратно обходя лужи. Путь этот, точно триста пятьдесят восемь шагов, самый короткий, и все деревья, со всеми их отметинами и обломанными ветками, и заборы по бокам сквера, и единственную собачью конуру у забора, к которой от калитки с витым литьем вела дорожка из треугольных плиток, и даже все кочки и русла случавшихся в сильные дожди и весеннюю распутицу ручейков она знала наизусть, могла описать подробно и найти с закрытыми глазами. Двадцать пять лет, в снег и холод, жару и ненастье она сворачивала с асфальтового тротуара в сквер и выныривала уже около самого здания почтовой конторы поселкового отделения «Черная грязь». И никогда не соглашалась, если предлагали сослуживицы или знакомые попутчики, сменить маршрут. Не ради пяти минут экономии вовсе (по асфальту, может быть, и выходило бы так на так – всё же по ровному идти надежней), но из некоего давно заведенного распорядка, подоплеку которого Серафима Германовна и сама не нашла бы, если бы ее спросили. Может быть, в память о матери, которая по той дорожке, с трудом передвигая артритные суставы, ходила на почту узнать, нет ли перевода. Никогда не позволяла Симе ее провожать. А может, и нет.

Деревья в сквере, липы и клены, летом переплетались верхними ветками, создавая подобие подвижной арки. Нижние ветки были давно обломаны, на стволах виднелись зарубцевавшиеся отметины, оставшиеся от сорежнований некогда занимавшего по-

селковое здание клуба лагеря спортивного резерва (почему-то их руководитель решил именно таким образом сверять результаты), и кое-где не заросшие следы от козьих зубов. Руководителя клуба и самих спортсменов Сима не помнила толком. А вот как сажали сквер, помнила и даже участвовала вместе с одноклассниками, тогда школьный садовник и по совместительству учитель труда Алексей Михайлович выписал целую партию саженцев, а также цветов-многолетников и даже четыре куста можжевельника. Из-за этих кустов Симины мама, тогда уже завхоз школы, скандалила, не видела смысла, но садовник настоял, сказал, что они будут облагораживать своей формой и фактурой новый сквер по всем четырем углам и представлять многообразие растительного мира Подмосковья. Пришлось ему уступить. Кроме можжевельника, Михалыч разбил клумбы, вместе с детьми засеивал их весной космеей, гвоздиками и ноготками, в центре по очереди бушевали роскошные пионы, потом драматическое «разбитое сердце» и флоксы, никто из прохожих, кажется, цветов не рвал. Клумбы давно заросли и сровнялись с грунтом, от можжевельника остался только один куст, точнее, даже обрубок. Два зачахли от неизвестных болезней и засухи, еще один больничная техничка, самогонщица Тася, выкопала, чтобы посадить на могилке перепившего ее же пойла и замерзшего под 23 февраля мужа – Сима видела, точно растет на могилке, и сама Тася лежит там же, со своим благоверным. Последний куст остался в самом темном углу сквера, у нового гаража Мусы – когда-то трудного подростка, которого мать, помощник зубного техника, спасла от зоны, продав квартиру в Доме учителя, а теперь степенного отца семейства владельца придорожного спа-салона «Владимирка». Уцелевший можжевельник также подвергался поруганию. Сначала строители гаража свалили на него самосвал песка, потом наехал водитель ассенизатора Славик, у которого дрогнула нетрезвая рука. Но куст выжил! Кривобокий, несуразный, он продолжал жить, выпуская каждый год новые ветки.

Заморосил дождь. Серафима Германовна затянула завязки на капюшоне, привычно бросила взгляд на скудные окрестности – и обмерла. Можжевельовый куст светился розовым светом. Не слишком ярко, но вполне заметно. Серафима Германовна замедлила шаг. Пригляделась. Никаких сомнений – вокруг несчастного обрубка распространялось ровное свечение, и сам он становился с каждой секундой всё пышнее и ярче, на ветвях появились неясные тени, что-то смутно напоминающие. Серафима Германовна остановилась. Облизнула губы, потерла себе ладонь с внутренней стороны, между линией жизни и линией судьбы, как учила одна дачница – говорила, там точка высшей энергии, отрезвляет и способствует здравому смыслу. Куст продолжал сиять, теперь он переливался, как новогодняя ёлка, знаки обрели ясность – теперь она четко узнала пузатые груши и яблоки из папье-маше, стеклянные бусы, гирлянду из флажков с сюжетами сказок Пушкина, матовую мельницу, все довоенные, сохраненные мамой от собственных погибших родителей, потерянные давно – и среди всего этого увидела райскую птицу, подарок дяди Рачия в год ее тринадцатилетия. Птица ласково смотрела на нее, поводя черным навывкате глазом, шевелила переливающимися перьями и как будто хотела что-то сказать. Серафима Германовна онемела. Она не чувствовала, как наступает в лужу, как грязь и вода заливают новые полуботинки. Не понимала, как заходится сердце, и от давления стучит в висках, и на глаза напалзает туман. Птица так ничего и не сказала. Очнувшись, Сима потрясла головой и еще раз надавила на ладонь. На мокром можжевельовом кусте сидел красногрудый снегирь.

Она вышла из лужи, почувствовала, что промочила колготки, и почему-то совершенно не расстроилась. Она вспомнила снегиря, улыбнулась. На душе вдруг стало удивительно светло и спокойно. Каждый шаг давался легко, и вспомнились какие-то обрывки старых мелодий и слов из репертуара давно забытых

ВИА... «Звездочка моя ясная, как ты от меня далека...» Кажется, это было про Надю Курченко, хотя тогда, когда впервые это прозвучало из школьного репродуктора, никто не знал и не думал. И думали о другом совсем...

Вдруг, почти подходя уже к зданию, она почувствовала, как что-то случилось с ее организмом. Не только ноги слишком ладно шли. Неожиданно сладко и больно потянуло вниз живота, как много лет назад, когда она носила Федю, и мышцы сжались в пульсирующий комок, и грудь набухла. В голове зашумело – но не так, как от давления, а радостно и призывно, как после школьного вечера в седьмом классе, когда она впервые целовалась с Олегом.

– Что-то вы сегодня припозднились, – пропела телеграфистка Филипповна, открывая ей дверь, – обычно раньше всех на посту.

– Да, замешкалась что-то, – проговорила Серафима Германовна и вдруг поняла, что сегодня не вторник. И очень жаль, что не вторник. И стала ждать вторника.

...Он открыл дверь в дождливый сентябрьский день, неловко закрывая зонт, с которого налилась целая лужица на новый линолеумный пол. Попросил доступа в интернет на полчаса. Сима его никогда не видела. Высокий, худой, возраста неопределенного, усы топорщатся, пиджак мешком, недорогой, ботинки приличные, но поношенные, по виду непьющий, на дачника не похож, да и сезон уже кончился, но и не мигрант и не деловой. Сидел больше часа, что-то восклицал, цокал языком, потом бросился направлять какую-то телеграмму, смысла она не помнила, что-то типа «не нашел, но близок к цели». Заплатил, убежал, оставил пакет, а в нём – книжка. Фенимор Купер «Следопыт», старая, видно, библиотечная. Сима выглянула на улицу – его и след простыл, как испарился. Прибрала пакет с книжкой, забыла уже. Но в следующий вторник (как раз пенсию давали, соцработники жужжали, как мухи, да и некоторые поселковые сами приходили)

– он пришел снова и снова попросил интернет на полчаса. Снова сидел больше положенного, но Сима не стала с него брать на этот раз дополнительно и молча передала пакет. Тот вспыхнул, улыбнулся и – стал похож на озорного мальчишку, вдруг поцеловал ей руку, сказал: «Какая вы добрая». И исчез. Она посмотрела на свою полную руку, пожалала плечами и пошла сверять счета.

Никто никогда не называл ее доброй. Серафима Германовна была ответственной, была грозной, была рассудительной и практичной. Это она слышала не раз и получала заслуженные грамоты и премии, формальные и неформальные, за свою исполнительность и понятливость. Давно, в какой-то прошлой жизни ее называли стервозой. Первый раз это сказал Олег Шпынкин, тот самый, с которым они целовались после школьного вечера в яблонево саду, среди осыпающихся лепестков, в одуряющем мареве весенних запахов, Олег тискал ее робкую грудь, и Сима чувствовала, что ее сердце сейчас вылетит из ребер и взвьется к синему вечернему небу, на котором проступали первые звезды, и сама она станет одним из этих светящихся огоньков. Олег стащил с нее кофточку, забрался в трусы, она и сама почти не сопротивлялась, но в последний момент всё же вырвалась – и тогда он ее ударил и повалил. Глотая слёзы и кровь из разбитой губы, она ободрала ему лицо и прошипела: не смей, я матери скажу, и тебя точно посадят. Тогда он ее грязно обозвал. Она ничего не сказала, а Олег попал на зону из-за очередной кражи на местном рынке. Его поцелуи она долго старалась забыть и, кажется, перестала о нём думать, когда, уже после развода, с маленьким Федей шла по поселку и ее нагнал невиданный автомобиль с тонированными стеклами и русалкой на капоте. Из него выскочил здоровый мужик с толстой золотой цепью на красной шее: ну что, подруга, я слышал, не занята? Жилье в порядке? Пустишь погостить? Вечером приду, а то мне осесть где-то надо. Сима не сразу узнала Шпынкина. Но вызвала милицию, и рецидивиста задержали с краденными ценностями – не у нее дома, в другом месте.

Бывший муж Василий был по натуре молчун. Он служил в соседней части в стройбате и подрабатывал, как все солдаты, у поселковых, за еду и сигареты. К Лоре Петровне, маме Симы, он пришел по рекомендации – чинить унитаз. Потом починил проводку, исправил шпингалеты на окнах, сколотил новый разделочный столик и стал приходить каждые выходные: уминал котлеты и приготовленную по случаю гостя долму, варенье и блины, иногда просил разрешения позвонить родителям в Краснодар – разговор был односложным. Сима стала спать с ним как-то незаметно: она готовилась к экзаменам в педучилище, Вася всё время крутился рядом, уже практически родственник, и страсть их была тоже какой-то домашней и незамысловатой. Поженились, когда у Симы уже подрос живот и наступил дембель; на свадьбу приехали сваты, привезли молочного поросенка, домашнего самогона; весь Дом учителя широко гулял и потом не менее широко опохмелялся. Вася прописался и был пристроен стараниями Лоры Петровны на ее место завхоза в школе (она сама уже заведовала группой продленного дня).

Сима рожала трудно, долго болела, молока у нее не было, молочная кухня в поселке работала с перебоями, в магазинах – вообще ничего. Федя где-то подхватил инфекцию, Сима два месяца лежала с ним в страшной районной больнице, где ползали тараканы и из подвала совершали набеги голодные крысы – матери боялись, что покусают младенцев. Пришлось взять академку в училище, и тут мать, Лора Петровна, слегла.

Сима, полуживая, устроилась секретаршей в родную школу и не обращала внимания на сплетни. До тех пор, пока не увидела и не услышала своими ушами, зайдя случайно в подсобку: муж, застегивая штаны, просил молодую практикантку-математичку подождать, пока ребенку исполнится полтора года, тогда он может спокойно развестись и отсудить у дуры жены и ее матери комнату в Подмосковьи. Практикантка натягивала колготки, глупо

кивала, потряхивая мелированными кудряшками, и хлопала накрашенными ресницами.

В суде Сима заявила, что ее муж – не только изменщик и бесовестный примак, но и враг советской власти, слушал регулярно вражеские голоса и осуждал интернациональную миссию СССР в Афганистане и только что состоявшуюся Московскую Олимпиаду. Судья опешила, спросив, откуда в Грязи, где вокруг все глушилки Родины и секретный объект на объекте, слышны вражеские голоса, и Сима сообщила, что бывший однополчанин, радист секретной части, соорудил Василию специальный транзистор, который преодолевает все технические возможности советской информационной защиты. Ваське присудили максимальные алименты, о радисте с тех пор никто ничего не слышал. А Васька, уходя, бросил ей: «Ну ты и стервоза».

Алименты он присылал регулярно, пока Феде не исполнилось 18, потом перестал, встретиться с сыном никогда не стремился. Не так давно Серафима Германовна увидела по телевизору программу – там говорили о героически погибших ополченцах Луганской народной республики, и вроде бы даже звучало его имя. Она писала, пыталась выяснить, просила начальника почтового управления узнать – но ничего не получилось, из штаба ополченцев написали, что, видимо, произошла ошибка.

...Про себя Серафима Германовна назвала его «Следопыт». Книжку Фенимора Купера он почти всегда носил с собой, доставал из ее страниц какие-то листики с убористыми записями, которые потом передавал по интернету и, получая ответ, цокал языком, иногда припрыгивал на кресле, качал головой. Это могло продолжаться минут двадцать, а могло и много дольше, и Серафима Германовна не спешила брать с него лишнее, понимая, что происходит что-то важное. Он приходил неизменно по вторникам и два раза в месяц, она заметила, делал переводы по пластиковой карточке, снова через интернет. Кому и зачем? Уходя, он обычно

дружески кивал, и иногда подмигивал, как будто между ними установилась какая-то особенная связь, и улыбался – все зубы на месте, и чертенята прыгают в глазах, как у молодого...

Официального отца у Серафимы Германовны не было. В метрике в соответствующей графе стоял прочерк, и мать назначила ей отчество Германовна в честь космонавта Германа Титова. Лора Петровна всю жизнь мечтала о звездах, мечтала стать учителем астрономии, но не доучилась, преподавала всю жизнь черчение, потом подрабатывала в горсовете и закончила карьеру завхозом поселковой школы, за что получила двухкомнатную квартиру в Доме учителя, единственном тогда в поселке благоустроенном двухэтажном доме, с газовой колонкой и туалетом. Так Лора Петровна стала ответственной съемщицей элитного в то время в Грязи двухкомнатного жилья. Родители ее, пламенные комсомольцы, идеалисты, строители Кузнецка, дали дочери в духе времени значительное имя – Ленин Освободил Рабочих, сокращенно Лора, которое она с горестной тягостью несла все годы, пытаясь переименовать то так то эдак. Родители умерли давно: отец – от ран, полученных на войне, мать – от лишений и болезней, и не увидели внуки, считая, что Лора так и останется старой девой. Но суждено было иначе. Лора стала сдавать одну из двух комнат. И одним из постояльцев оказался фотограф Рачий Константинович. Он приезжал в воинскую часть к присяге и к дембелю, иногда к Дню советской армии, с треногой, огромным тяжелым фотоаппаратом и сумкой с реактивами. Впрочем, это уже потом Сима помнила реактивы, которыми была заполнена вся квартира.

Сначала Рачий приехал в Грязь и каким-то образом нашел комнату у Лоры Петровны. Потом стал приезжать регулярно.

Его приезды, радость встречи, бурные объятия, смех, запах армянского коньяка и специй, приготовление пряных блюд, дикий сладости, поездки на такси на рынок в райцентр и на пони на какую-то правительственную ферму неподалеку – это

первые воспоминания праздника. Не Новый год, не её, Симин, или Лоры день рождения, даже не 7 ноября или День Победы. Дядя Рачий говорил – когда у меня есть деньги, тогда и праздник, и будем праздновать, и Лора смеялась, и была необычно красивая, и дядя Рачий поднимал ее на руки. Потом его не было долго, но иногда приходило извещение, и Лора шла на почту, и получала перевод, и они с Симой ехали в райцентр в кино или покупать ей новое платье или сапоги. Всё это Сима помнила довольно смутно. Но отчётливо сохранилось в памяти, как дядя Рачий на тринадцатилетие подарил ей невероятные колготки, каких ни у кого не было, и странную стеклянную игрушку, как будто для ёлки – огромную жар-птицу с переливающимся хвостом, и сказал, что она должна быть счастлива. Симе чуть было не заплакала – она боялась, что с ним что-то случится, хотела его задержать. Но он обнял ее и Лору и уехал. Больше они его не видели. Несколько раз еще Лора получала по почте переводы, потом и они прекратились. Незадолго перед смертью Лора Петровна сказала, почему назвала Симу таким странным именем – Рачий однажды сказал, что святой Серафим Саровский отмолит все грехи людей. Так она и решила.

Много лет спустя Серафима Германовна пыталась найти следы Рачия Константиновича, его московскую и ереванскую семьи, других женщин, детей – всё безрезультатно. От него она унаследовала внушительный нос, густые брови и тяжелый зад. «Армянская задница», – подшучивала над ее комплекцией уже парализованная Лора Петровна и вспоминала иногда, приняв рюмочку, подробности проявлений веселого нрава Рачия.

Сын Федя вышел, судя по всему, в деда. Юркий и пылкий, с обволакивающими каждого невероятными синими глазами и длинными ресницами, он прослыл бедой всех девочек школы. В лётном училище, куда он, крепкий и спортивный, легко поступил, успел жениться и развестись дважды; причем последняя жена,

из Калининграда, настолько напомнила Симе презренную практикантку-математичку, что не сдержалась, – и Федя с женой пропали на несколько лет. Но легкость перемещений Феде по женщинам и пространству не знала границ, и когда последний раз он, уже представитель российских ВВС в далеких африканских широтах, предстал в Грязи перед матушкой с чернокожей супругой и двумя чудными негритами, Сима поняла, что сына у нее больше нет. Федя не баловал переводами, но раз в год, на Рождество, направлял то тысячу, то две долларов в эквиваленте, и исполненную любви открытку с очередными фотографиями семейства, которые Серафима Германовна немедленно бросала в дальний ящик. Она давно уже установила свой порядок размеренной и поступательной жизни, остановившейся в какой-то момент, но сохраняющей устойчивость и логику. После смерти матери ушла из школы навсегда, получив максимальные привилегии, забыла про педагогику, но нашла прекрасную нишу на почте, где умела потрафить начальству, получить при этом свою выгоду, и складывала неслучайную копейку к копейке, что радовало ее всё больше и больше.

...Сима ждала вторника. Накануне она долго смотрела на себя в зеркале в уборной. Тяжелые веки, глубокие складки у губ, землистый цвет лица. Всё это поправимо. Она вытащила из дальнего угла ящика помаду, пудру, поправила пробор. Вышла в зал. Начальник управления, внепланово приехавший, чтобы забрать вырубку от пользования интернетом и других услуг, приосанился – Серафима Германовна, вы как на выданье сегодня, такая красавица, дай поцелую!

И она снисходительно подставила щеку.

Всю вторую половину дня она пыталась представить, куда отправляет переводы этот Следопыт, кто он, о чём думает, кого любит. Никто в поселке не мог сказать, она спрашивала уже: снимал комнату у военных пенсионеров, платил в срок, женщин

не водил (что было приятно), не гулял и писал ночами что-то от руки в тетрадке, ходил в библиотеку иногда. Очень любил смотреть фильмы про индейцев, видели много кассет.

В следующий вторник Следопыт не появился.

И через вторник тоже. И потом.

И никогда его больше не видели на почте поселка Черная грязь.

Но это на самом деле неважно.

...Серафима Германовна по-прежнему ходит по неверной дорожке, уже зимней, через сквер. И иногда – не каждый раз – ее приветствует тот самый куст можжевельника, который осветил ее сердце неугасимой силой мечты. И на тощих ветках, подернутых инеем, вспыхивают искры и прорастают тени и фигуры; и над всеми ними, и над всем их совместным тихим сиянием, поет тонким голосом райская птица счастья, потому что не петь ей нельзя.

Отшельник

Дядя Михей появился в поселке Светлый путь в разгар первой чеченской кампании, его прямо из госпиталя привезла в свой дом на окраине Нинэль Ивановна, заведующая офицерской столовой, племянница покойной самогонщицы Аришки.

В унаследованное от Аришки неопрятное жилище, некогда совмещавшее функции винокурни, склада и распивочной, она и доставила нового супруга. При этом, как говорят, сама рулила новеньким «пежо», подаренным Михею за геройские подвиги и потерянные ноги, а в отдельной шкатулке на сиденье везла его боевые награды. Поговаривали также, что очередным законным браком Нинель сочеталась с инвалидом-полковником не бескорыстно – у того, мол, имелись солидные средства. Как бы там ни было, Аришкину халупу быстро разобрали, завезли на участок дорогие стройматериалы, вызвали архитектора из Москвы, даже ёлок импортных насадили у забора. Хозяин сам руководил планировкой, встав на заморские протезы, а местные жители лишний раз под видом сбора грибов шли к лесу мимо стройки – лишь бы поглазеть.

Но тут случилось лихо: в канун ноябрьских праздников Нинэль Ивановна укатила вместе с архитектором на мужниной машине, прихватив заодно все документы и ценности, не побрезговала даже протезами, и больше о ней никто ничего не слышал.

Думали, зиму инвалид не переживет. Особенно забеспокоились, когда к нему на участок пришла дюжина таджиков-нелегалов, изгнанных из соображений экономии местным держателем строительной рабочей силы из бывшего колхозного коровника. Но свершилось неожиданное – через несколько дней тад-

жики стали появляться в поселковом магазине, чистые и трезвые, а о новом хозяине (Михея называли именно так) говорили как о посланце Аллаха, которому открыто слово и откровение.

Оказалось, что Михей знает по-арабски, а заодно – умеет лечить травами, чинить мобильные телефоны и утюги, заговаривать от запоя и вести уроки физкультуры и астрономии в местной десятилетке. Новоприбывшего настоятеля часовни при воинской части вылечил от тяжелой болезни, нечистую на руку продавщицу вразумил и побудил работать санитаркой в госпитале.

Сперва мигранты возили Михея в школу или клуб, впрягшись в санки, а к лету, когда дом наконец достроили, «хозяин» уже рулил самодельным квадроциклом. Даже протез снова обрел, после того, как в один из летних дней к окраинному дому прикатил загадочный черный автомобиль с затемненными стеклами, – тогда решили, что засекреченные однополчане Михея приезжали к нему за советом. Уверовали в это окончательно, когда раскрыли подпольную группу подготовки скинхедов в том самом освобожденном от мигрантов коровнике, захватили подготовленные к погрому ближайшего рынка железные трубы, плетки и газовые пистолеты, а также боевые инструкции, выпущенные известной молодежной организацией. Об этом каким-то образом узнало телевидение, светлопутинскую историю показывали на весь мир, начальник УВД получил повышение, владелец коровника – срок, а в поселке срочно назначили внеочередные выборы администрации. Хотели было выдвинуть Михея, но тот отказался, предложив вместо себя одного из таджиков, но в результате выбрали библиотекаря.

С тех пор в поселке многое поменялось, куда-то исчезли рвачи и грубияны из автосервиса, их заменили дети таджиков, вежливые и работающие, по улицам не слоняются пьяные мужики и бабы, ветер на разметает барханы местной свалки, которую, кстати, вынесли за поселковую черту и окультурили, а на ее месте по-

строили интернет-школу для подростков и центр дефектологии, где преподают дуркинские педагоги. И много что еще появилось, всего не расскажешь.

А главное – светлопутинцы почувствовали, что могут жить по-другому, и уверены, что научил их этому местный отшельник, секретный суперагент и герой, который знает тайные слова и умеет преобразовать время и пространство вокруг, и всех устраивает, что настоящего имени-фамилии Михея никто не знает. Значит, так надо.

Сам же Михей никогда не попадал в объективы фотоаппаратов, а местным папарацци, норовящим его поймать или задать вопрос, нашепчет всегда что-то, те и отойдут в сторонку. Никогда не участвовал ни в народных сходах, ни в гражданских диспутах – хотя не секрет, что многие из них горячо обсуждались и планировались на лужайке перед его домом. И вот совсем недавно тоже собирались, и из Москвы приезжали молодые бизнесмены и студенты, в которых кто-то узнал бывших поселковых хулиганов, вынесли на суд отшельника некий план экономической и политической реконструкции Светлого пути с учетом несовершенства граждан и поселкового устройства – такой, который, с одной стороны, не причинит зла, а с другой – не извратит саму идею перемен. Наверное, скоро об этом тоже услышим.

Счастливая

Вера Кузьминична никому не завидует. Пустое это. Да и грех, отец Василий сказал, такой же, как уныние, но меньше аборта. А главное – зачем? Люди трудно живут, маются. А у нее всё хорошо.

Вера Кузьминична возвышается над кассовым аппаратом, черные брови, яркая косынка в тон фирменной жилетке с надписью «Пятёрочка», статная, как монумент невозмутимая, и видит из окна крышу своего бывшего дома, на улице Амбулаторной. Дома скрыт за высоким забором. Новые хозяева заменили крышу, теперь она блестит коричневой металлочерепицей; дорого, но надежно, не то что старый шифер, который всё время латали – дедушка, потом отец, потом Валерий... И мать, уже парализованная, переживала, что на веранде всё время протекало... Теперь веранду перестроили, выложили из кирпича и оштукатурили, как и весь дом, поставили стеклопакеты. Нет больше наличников с петухами, их дедушка смастерил. Но зато дом цел, и люди в нём живут, семья переселенцев из Казахстана, один ребенок инвалид, не ходит, его возят в санаторий каждый год, надеются, поможет. Покупают ему голубику и гранаты почти каждый день. В каждом доме по кому. Дай-то бог. С тех пор как стала ходить в церковь, она ставила свечку: Пантелеимону – за мальчика, и за Светку, падчерицу, – Николаю-угоднику; и в память об всех ушедших – за бабушку с дедушкой, мать, Валерия и, поколебавшись, за отца. Пусть в том мире упокоятся.

– Кузьминична, мне Маврик звонит, выручишь? – вторая кассирша, Наилия, с телефоном в руке бежит в подсобку.

– Конечно, милая, – Вера Кузьминична величественно кивает, махнув рукой.

Наилю она всегда прикрывала. Та сама из-под Баку, муж – армянин, бежали после резни в Россию, где ни армянская, ни азербайджанская диаспора их не приютила, мыкались по углам. Муж, инженер, стал автослесарем, потом открыл мастерскую, его убили пьяные «братки». Наиля вышла замуж снова, за своего, азербайджанца, пока сын был в армии, родила девочку. Муж с армянским сыном видеться не разрешал, Наиля тайком к нему ездила и всегда делала заначку на подарки. Вера Кузьминична видела, как она невзначай дважды пробивала колбасную нарезку или пиво дачникам или «забывала» сотню-другую сдачи, а то и переклеивала этикетки срока годности со списанного товара. Не часто, и никто не заметил. Она вообще подмечала всё: и как кладовщица Зоя пересортировывает фрукты, и как ее ухажер-участковый выходит из подсобки с набитыми спортивными сумками, а заходил с пустыми. За связь с ментом Зою смертным боем бил муж, она приходила зареванная, в синяках, и не раз рыдала на широком Верином плече, что и мужа любит, но не может устоять, и, как собачонка, бежит за своим ментом, бабником и взяточником, лишь только тот свистнет... По радио слышала – болезнь такая, любовная зависимость... Еще в детстве бабушка кому-то говорила: какую-то женщину съели страсти. Представляла чудищ, вроде бабы-яги из фильма или летучих мышей – бросаются на человека и откусывают куски мяса... И когда отец ушел, мать, выпивши с соседкой, в сердцах сказала при очередном разговоре о нём, точнее о том, что пропал напрочь, ни писем, ни переводов: «Сгубили его страсти...» Трудно люди живут, маются... Не позавидуешь.

Нет, и у нее было – не отнять. К приезду отца мама решила поставить новый забор, нашелся паренек-солдатик из воинской части – все поселковые нанимали их для разных работ. Рустам. Красивый, высокий, с орлиным профилем, рукастый. Их бросило

друг к другу с первого взгляда. Он рассказывал Вере про свою семью, про село со странным названием Согратль, где самое старое здание – школа, ей триста лет, и разрушенный дом имама Шамиля, откуда он озирает свои владения перед окончательной битвой с русской армией. У Рустама дед был учитель, он сам тоже хотел в педагогический (как и Вера).

– Привезу тебя к нам в село, у нас почти нет русских жен, только у легчика, он в Риге учился, домой летом приезжает в отпуск. Она на тебя похожа. Такая же красивая!

Вера слушала его рассказы, песни на непонятном языке, грустные и тревожные, и представляла высокие горы, бурлящие горные реки, пастбища на склонах, представляла, как она спускается за водой с кувшином на плече, как на чеканке в промтоварном магазине у станции...

Она слышала от девочек, какими грубыми бывают парни и как бывает больно, но с Рустамом ей было только хорошо, до звона в ушах, до потери сознания... Осенью закончился срок его службы, и он обещал приехать через неделю. Не появился ни через неделю, ни через месяц.

Мать, узнав, что Вера беременна, отхлестала ее полотенцем, потом дала 30 рублей и отправила к знакомой врачихе в райцентр. Адрес и тариф был хорошо известен в поселке – мать и ее подруги пользовались им регулярно.

– Не бойся, – напутствовала мать – твой отец меня и до тебя, и после двенадцать раз отправлял, а иной раз и без наркоза. Главное – наркоз: заснешь, и на следующий день как ни бывало.

Но с Верой что-то пошло не так: занесли инфекцию, в больнице она пробыла долго, и в результате ей отрезали всё, из чего могут появиться дети. В справке для школы (Вера заканчивала десятый класс) знакомая врач написала, что был аппендицит.

А вскоре случилась беда – отец ушел. Точнее, написал открытку, что полюбил другую и останется на Украине у нее. И перевод – 300 рублей.

Мать хотела броситься под электричку, ее спасли, положили в психушку, за то время уволили из поссовета, где она работала бухгалтером.

Вера мазала зеленкой уродливые шрамы на животе и не понимала, почему так получилось – почему отец вдруг так поступил и даже не приехал объясниться. Родители жили дружно, отец хорошо зарабатывал дальнбойщиком, привозил из поездок вкусную еду и красивые вещи ей и матери, финские сапоги или кофточки с колготками, они ездили иногда в Москву, а чаще в райцентр на выходные, когда он бывал дома. И почему он не пишет.

На 18 лет она получила от отца перевод – 500 рублей со словами: «Дочери на свадьбу». Хотела отправить назад, потом отдать матери, но передумала. Мать уже сильно выпивала, каждый вечер они с соседкой, у которой сын погиб в Афганистане, отправлялись в самогонщице и потом на полную громкость включали проигрыватель – ансамбли «Пламя», «Песняры», «Поющие гитары»... Вера училась в торговом техникуме и подрабатывала в местном магазине канцелярских товаров, про педагогический пришлось забыть. Она иногда вспоминала Рустама, его руки, его губы, но вскоре эти воспоминания стерлись, как будто всё это было и не с ней, а с кем-то другим, или во сне. У одной школьной подруги за то время уже дважды родились больные дети: девочка умерла почти сразу, а мальчик месяцами находился в больнице, редкая аллергия; муж не выдержал и через год ушел. Другая никак не могла выйти замуж, беременела и делала аборт за абортом. Вера привыкла тащить еле передвигавшую ноги мать домой, разувать и раздевать, вытирать блевотину и слушать пьяный бред.

500 рублей ейгодились на похороны: мать с соседкой отравились паленой водкой; соседка умерла сразу, а мать, ослепнув, – через неделю.

На 40 дней она собрала знакомых, накрыла стол. Среди приглашенных был племянник соседки, Валерий, только что отслуживший во флоте. Говорили, он рассчитывал на теткино наследство, но та всё оставила родне покойного мужа и его семье.

– Верушка, – он взял ее за руку, когда гости разошлись. – Если ты не будешь квасить, как тетка, я на тебе женюсь.

Валерий переехал к ней. Работал на водоканале, провел наконец в дом водопровод, газ, появилась ванна и горячая вода, о чём родители только мечтали. О детях разговора не заводил. Вера сама сказала, что после операции она не может – если что, можно из дома малютки взять. Но он не настаивал. Сколько раз, лежа с ним рядом, Вера пыталась вспомнить, как она обнимала Рустама, но не получалось. Валерий отремонтировал крышу, поставил беседку и рядом с ней песочницу с грибком. Вера удивилась – для чего?

– Ты не будешь сердиться? – спросил он.

Вера не поняла.

На следующий день он вернулся с работы не один – с молодой женщиной (Вера видела ее в сберкассе на окошечке) и девочкой полутора лет, волочившей куклу, с рыжими волосами, копия Валерия. Оказалось, их выгнали с квартиры и они просились на постой. Валерий вызвался заплатить.

Вера поселила пришельцев в бывшей родительской комнате, выгнала Валерия туда же. Не спала ночь, а наутро повела новых родственников в сельсовет прописывать. Секретарша, бывшая мамина подруга, пыталась ее отговорить, но Вера оказалась непреклонна. С тех пор по поселку разнеслось: Кузьминична не в себе, блаженная... Но ей было всё равно. Она не поехала на повышение в райцентр, осталась в самые лихие годы в поселке, вместо канцтоваров открылся промтоварный, изредка перепадал дефицит, который тут же перепродавали на рынке в райцентре,

поселковое руководство было в доле, и худо-бедно семья жила несколько лет.

Вера учила математике рыжую Светку, водила ее в детсад и потом в школу, та стала ее называть мамой. То, что Светкина мать – клеptomанка, поняла не сразу. Сначала стали пропадать вещи – серебряные подстаканники, бижутерия... Однажды Вера поймала ее за руку – рылась в комод в Вериной комнате. Она попросила Валерия сделать замок. Когда Светка была во втором классе, случилась очередная беда – ограбили отделение Сбербанка в райцентре: Светкина мать оказалась наводчицей, всех повязали, ей дали срок. Вера оформила опекунство над Светкой, потом ее удочерила. Валерия она к себе больше не пускала, тот смирился, приносил заработанное, стал устанавливать газовые котлы в районе. Погиб, когда случилась авария. Веря похоронила его в одной ограде с матерью, бабушка и дедушка – рядом. Тогда она впервые пошла в церковь – отпевать. И заодно просить спасти Светку, у которой проявились материнские наклонности, крала.

Церковь на краю поселка была заброшенной много лет, ее отреставрировали своими силами, поселковые собрали иконостас. Вера приходила, тихо стояла в сторонке, слушая хор. Ставила свечи за покойников и за Светку. Молодой священник, отец Василий, ей нравился. Как будто сынок – примерно того же возраста, как их с Рустамом нерожденный. Но не исповедовалась и не причащалась. И когда на Василия завели дело о продаже редкой иконы владимирским «браткам» (рассказали прихожане), принесла из дому бабушкину – «Утоление печалей» – и перед самым приходом следователей попросила поставить в пустующий оклад. Следователи дивились и пытались надавить, но Вера уверенно утверждала, что взяла икону домой помянуть предков и вернула назад.

Отец Василий потом стоял на коленях и называл ее святой. А Вера просила помолиться за Светку. С тех пор она старалась не пропускать ни одну службу, научилась петь в церковном хоре.

Когда Светке исполнилось 18, она потребовала раздела имущества. Ее бойфренд хотел начать бизнес в Крыму. Вера выставила дом на продажу, отдала деньгами и купила себе комнату в семейном общежитии венного госпиталя, на седьмом этаже, с общей кухней и ванной. Зато высокий дом, где всё само работает. Соседи – двое молодых военных врачей, из Питера, хорошие ребята, не сильно пьют и вежливые. Грех жаловаться.

Когда ей было уже 45, она сошлась с Амиром, таксистом, из Таджикистана – работал мелиоратором, семья на родине, под Душанбе. Он привозил фрукты, готовил плов и назвал ее второй женой. Амир читал ей стихи на русском и фарси, молился по утрам, чисто убирал квартиру и сочувствовал проблемам со Светкой, которая писала редко, в основном требуя денег. С ним было легко и спокойно, и в какие-то минуты она забывалась, и вспоминала поцелуи Рустама, и обнимала Амира пылко и отрешенно, и тот от восторга шептал ей какие-то слова на непонятном языке...

Свою таджикскую жену с тремя детьми он привел к ней вместе с мешками сухофруктов и попросил организовать продажу на поселковом рынке. Вера отдала детям свою кровать, временно переселилась в комнату военных врачей, которые были в отпуске, но скоро передала бизнес Наиле и поскорей освободилась и от Амира, и от его потомства, которые быстро нашли приют у заведующей новой привокзальной баней.

– Верушка, ты везунчик, – как-то сказала ей Наила, – ведь сколько раз могла пропасть! Не спилась, и муж не убил, и Светка твоя где-то далеко, и даже таджик не убил и не ограбил! Хорошо тебе! И сама жива-здоровая!

Вера только улыбнулась.

Она стала чаще ходить в храм и готовила подарки для детей Василия – шоколадки, ползунки и игрушки, и пару раз дважды выбивала чек подвыпившим веселым москвичам-дачникам за коньяк и даже текилу.

На похороны она давно отложила и написала завещание отцу Василию, чтобы средства от продажи ее комнаты перешли не храму, а конкретно ему и его семье.

А так у нее всё есть, и некому завидовать. И незачем. Всё хорошо. Она смотрит на крышу дома, в котором родилась, каждый день с высоты своего кресла у кассового аппарата и величаво здоровается с покупателями.

А вечерами, сидя у телевизора в своей теплой общежитской комнате, наливает рюмочку и, забыв о программе, смотрит в окно, где темнеют сосны и кружится снег, и ей кажется, что в его кружении возникает забытое лицо Рустама, и лица родителей, и где-то впереди ее ждет прекрасная, всех прощающая и принимающая Богоматерь, которая дарует ей вечный покой.

Ангел

Виолетту Петровну бросил муж. Полюбил молодую, задастую и грудастую. Как только не пробовала его вернуть – ничего не помогло. Пришлось подписывать разрешение на развод и на раздел кооперативной «двушки», в которой прошла вся жизнь. А тут еще и болезнь, какой врагу не пожелаешь.

Через три месяца новоиспеченная жена, уже с заметным пухом, сама отвезла Виолетту Петровну в новое жилище – комнату в двухэтажном бараке с видом на железнодорожные пути в одном из подмосковных городишек. Некогда здесь стояла деревня, где, якобы, Анна Каренина бросилась под поезд.

С одной стороны барака высился забор интерната для глухонемых детей, с другой – его подпирала сауна, у которой днем и ночью сновал и шумел ушлый народец. Путь к станции, с которой Виолетта Петровна отправлялась на работу в столицу, пролегал мимо этой сауны и свалки, где копошились бомжи, и Виолетта Петровна дрожала от страха всякий раз, стараясь прошмыгнуть побыстрее.

Впрочем, надобность в поездках скоро отпала – в техникуме, где она проработала почти тридцать лет, женщине деликатно сообщили, что при ее здоровье лучше дышать подмосковным воздухом.

И вот однажды вечером Виолетта Петровна решила умереть. Взобралась на насыпь, легла щекой на рельсы и стала ждать. Прикрыла глаза, вспоминая счастливые дни и годы, проведенные с мужем...

Очнулась она от того, что ее грубо трясла огромная бабища, от которой несло перегаром.

– Уйди, – пыталась отбиться от нее Виолетта. – Дай спокойно умереть.

– А пятьсот рублей в кармане забыла? – пробасило чудовище. – И вообще, это смертный грех, бога побоялась бы.

– Я в бога верить не умею. И в жизни у меня ничего не осталось. Ни детей, ни мужа, ни работы.

– Вот дурища, – загрохотала трубным хохотом баба в замызганной телогрейке и кроссовках на босу ногу, – детей у тебя еще будет целая куча. И мужа ты простишь, и толстозадую новую жену, и начальницу.

– Откуда ты знаешь про мою жизнь? – удивилась Виолетта.

– Ангел шепнул. На-ка, возьми вот эти очки. Наденешь, и увидишь то, чего другие не видят. А пятьсот рублей мне все-таки отдай. За труды.

Сунув Виолетте оправу, баба в телогрейке вскоре растворилась в темноте.

Полежав еще какое-то время, Виолетта Петровна почувствовала, что замерзает. Поднялась, оправилась, нащупала в кармане оправу без стекол. А пятисотка, последняя, исчезла.

У самого дома Виолетта услышала стон. Присмотрелась: молодая девушка, из тех, что в сауну приходили, с перерезанным запястьем, вся в крови. Приволокла бедняжку в свою каморку, «Скорую» вызвала, сдала с рук на руки, и тут вспомнила про очки. Недоверчиво водрузила на нос. И обмерла, увидев своего мужа маленьким мальчиком в слезах, которого покойница-свекровь бьет линейкой по пальцам. Тот просит пожалеть, а она все пуще замахивается... Увидела Виолетта и толстозадую новую жену худенькой девочкой-подростком, над которой в подвале какой-то хаты глумился грязный мужичишка. И директрису техникума, стоящую на коленях перед сыном-наркоманом, тоже увидела. От жалости к ним перехватило горло. А вскоре совсем отчетливо увидела Виолетта, как на свалке, рядом совсем, глухонемой

мальчик торопясь затягивает петлю на тоненькой шейке. Бросила очки, выбежала на улицу, забыв про хворь и страхи. Видит, и впрямь паренек под единственным деревом на ящиках балансирует, и веревка на шее. Паренька того Виолетта тоже домой забрала, и упросила интернатское начальство оставить у нее на время, те не возражали, правда, довольствия не предложили.

Так и потянулись дни. Виолетта выучила грамоту глухонемых, начала в интернате подрабатывать сторожем, а потом и сурдопереводчиком, занималась с ребятишками по программе своего техникума и разучивала любимые стихи. Ребятишки потихоньку перестали ходить к бомжам на свалку и подглядывать в сауну. К весне трое из ее подопечных заговорили, а тот самый мальчишка, которого она из петли вынула, сам начал сочинять песни про подростковое житье.

И та девчушка, которую Виолетта у дома встретила, спустя год приехала к своей спасительнице с мужем-лейтенантом погранвойск перед отъездом на дальневосточную заставу. И не с пустыми руками – привезла в подарок компьютер. В интернате компьютеры есть, но ребятишки любят тот, что у Виолетты, и придумывают новые игры, в которых действуют живые воспитатели, гастарбайтеры, полицейские и бомжи, и их собственные непутевые родители, которые все чаще теперь приезжают их навесить и поговорить с Виолеттой, у которой на всех находится и время, и доброе слово.

Кому-то из них, сейчас она уже не помнит, кому именно, Виолетта и отдала те самые очки без стекол.

А красномордую тетку в телогрейке и кроссовках на босу ногу она больше никогда не встречала. Но слышала, что какая-то бомжиха ходит по насыпи и подбирает отчаявшихся от самих Петушков до Первопрестольной.

Химеры

С новым назначением в Светлый путь пришли лихие времена. Не сказать, что прежние управляющие были кисельно-сахарными, но к их мелким причудам уже привыкли, да и новации все касались в основном базовой отрасли – поселкового спиртозавода, так что большой беды не ждали.

Новый лидер оказался неприметной внешности, неясного возраста, с глазами непонятного цвета. Да и осваивать градообразующее предприятие стал без пафоса – опомнились, только когда к майским повысили налог на воду и уборку мусора и цены на местный продукт в сельмаге подскочили в полтора раза.

Поселковые активисты собрались перед сельсоветом на акцию протеста, но их быстро скрутили вместе с транспарантами невесть откуда взявшиеся бойцы спецназа, разыскивавшие в окрестных лесах, как позже выяснилось, террориста-кавказца. Кавказца того изловили, устрашающий портрет его разместили на стенде у продмага, а бузотеров выпустили, слегка помяв бока. Районная газета сообщила, что все они поголовно как раз уклонялись от уплаты налога, но были великодушно прощены в честь Дня Победы, и всем православным и к ним примкнувшим сделали по этому случаю скидку на основной продукт.

Народ возликовал и рванул к прилавкам. И тут случился парад. Самый настоящий. Самоходка времен обороны Москвы, начищенная, ехала перед строем местных милиционеров и пожарников в форме 1941 года, замыкали же строй управленцы и секретарши, переодетые регулировщицами и маркитантками, а принимал парад сам глава, стоя на сиденье белого «Мерседеса» – в наполеоновской треуголке и эполетах.

Тут местный Крылов, контуженный в Чечне отставник, откупоривая нетвердой рукой сосуд прямо на крылечке продмага, и изрек: «Задумала цесарка стать журавлем – быть беде, еще летать захочет». Тему, говорили, развили в газете шустрые юнкоры, правда, прочесть плоды их творчества не успели – аккурат после праздника в редакции замкнуло электричество, весь тираж сгорел, и компьютеры пропали, а в областной прессе потом писали, что редактор районки проворовался еще в прошлом году, и поджог – его рук дело.

Сатирик-отставник как-то неудачно свалился с каланчи, ушиб голову и был помещен в приют для умалишенных за пределами района.

После пожара в Пути началась активная борьба с коррупцией, оштрафовали показательно продавщицу Зину, забывшую отдать сдачу, а заодно и почтальона Подпечкина – на всякий случай. К всеобщему удивлению, не тронули автосервис, исправно торгующий краденым и, по слухам, причастный к пропаже машин у приезжих; участковый через пару месяцев расширил парк вверенного ему управления до двух единиц ввиду приобретения новенького «Джипа чероки». Появились новые налоги – на посещение рощи, пользование прудом, выгул коз и собак в лесу, при этом культурно-массовые мероприятия сопровождали теперь всё новые затеи-то массовый заплыв школьников в пруду и прыжки через костер на Ивана Купалу, то в день авиации – массовый полет на дельтапланах. Лидер Пути облачался при этом в наряды один чуднее другого-то был Нептуном со сверкающим трезубцем (говорили, продукт нанотехнологий), то летчиком Чкаловым, то – самим Икаром, в ярком птичьем оперении (вот тогда-то и вспомнили вновь слова незадачливого баснописца). Освещали все эти зрелища камеры новенькой телестудии, директором поставили бывшую пионервожатую Люсю, чемпионку района по гребле. Обучал ее новой профессии привезенный из областного центра

имиджмейкер в странном пиджаке с пробивающейся неожиданно искрой, но он вскоре исчез так же неожиданно, как появился.

Тогда и «засветились» первый раз в Пути химеры – сначала на экране, в детском мультике, потом в передаче для школьников о Соборе Парижской Богоматери: о самом соборе – чуть-чуть, а о чудящах – полчаса. Они подмигивали зрителю, показывали языки и виляли хвостами, кого-то из родителей чуть удар не хватил. Потом химеры появились на новых этикетках продукции местного завода – с голографической сверкающей чешуей, редкой мерзости, потом – на новом гербе поселка, вместо первоначального барсука: приглядишься, а голова у зверя – свиная, и чешуя вместо шерсти, и хвост как у льва...

Прихожане бросились к батюшке (как раз прислали нового, в связи с растущей общиной) – тот вкрадчиво объяснил сперва на проповеди, а потом и по местному телеканалу, что надо соответствовать новым тенденциям в информационном пространстве, что мифологические образы – наше оружие в борьбе с врагом, который завидует нашим успехам и норовит испоганить наш эфир и головы тлетворными сомнениями.

Светлопутинцы как раз было усомнились, стоит ли очередной раз повышать налог на воздух в роще в связи с зимним временем, роща-то липовая; может, отказаться и от очередного карнавала с ряжеными, лучше бы крыльцо у больнички новое построить, но передумали. Правда, завершая увещевания, батюшка как-то странно подмигнул и глумливо ухмыльнулся, и кто-то заметил – красная искорка как будто прошмыгнула в углу экрана.

А перед самым Новым годом затеяли новый маскарад, не побоявшись поста – организаторы корпоратива, призвав на сей раз столичных портных, изобразили себя кто Солохой, кто Панночкой (это Люся-теледиректриса, конечно), кто – домовым, все в блестках, и вышли на заснеженную площадь перед поссоветом. И тут поселковые увидели, что все ряженые во главе с лидером –

на самом деле химеры, с кабаньими рылами, в змеиной чешуе, с копытами, болтающимися хвостами – нечисть болотная, да и только.

Закричали православные и к ним примкнувшие – управленцы перепугались, стали стаскивать с себя тряпье, а оно не стаскивается, и чучельные маски приросли к костям, и копыта не отдираются, и хвосты не отваливаются.

Испугались светлопутинцы, за голову схватились. Но вдруг что-то гроыхнуло в небесах, взвихрился снег, задул ветер, как будто сам Дед Мороз посохом по тверди ударил, – и тут все чудища-нечисть одно за другим взвились в снежных хлопьях, унеслись неведомо куда, как их и не бывало...

Голубка

Петька Буянов пропал за правду. Все поселковые были в этом уверены определенно. Разве кто-нибудь из заезжих «журиковцев» ляпнет иногда, что погиб он из-за собственной глупости, но и тот быстро прикусывал язык. «Журиковцами» нарекли новых владельцев земельных участков, нарезанных на территории бывшей рощи на берегу озера, любимого места отдыха светлопутинцев. Не одну свадьбу сыграли здесь еще родители современных домовладельцев, не один митинг в поддержку гласности и правды о прошлом и настоящем Подмосковья провели тут местные активисты, даже художественный фильм – сказку по мотивам «Аленького цветочка» – снимал тут в юности знаменитый ныне режиссер. Покуситься на красоту пытались не раз вороватые чиновники и их сатрапы, но Светлый путь, вопреки всем уверениям в пассивности современного российского обывателя, проявлял редкое упорство и последовательность в защите своих законных прав на общественные угодья. Как только очередной претендент появлялся на горизонте (пусть бы даже ночью, с бульдозерами и охраной с мигалками), всё население поселка вставало, как по боевой тревоге, включая инвалидов-колясочников и кормящих мамаш с младенцами, и не отступало, пока захватчики не бежали с позором. Не обходилось без потерь – так, в неравном сражении с охраной районного депутата, будто бы купившего полгектара рощи (всё оказалось враньем, и депутат был благополучно отозван и посажен), Евстафий, Петькин друг и брат его невесты Маруси, получил «демократизатором» по затылку и оглох на одно ухо. А сам Петька был посажен на пятнадцать суток за то, что во время очередного пикета в защиту рощи, вокруг которой подруч-

ные нового главы администрации Журикова успели возвести забор из оцинкованных листов железа, выломал первый лист собственными ручищами, грозил чиновнику огромным кулаком и называл жульем и бандитской шестеркой. От забора через сутки не осталось ни винтика, о казнокрадстве и связи с преступным миром главы снимал передачи федеральный телеканал, Петьку выпустили, но каким-то образом дело оказалось незакрытым. После осенних выборов (на которых Журиков непостижимым образом устоял и даже возглавил комитет по борьбе с коррупцией) вдруг оказалось, что земли рощи давно перепроданы какому-то агентству, а агентство, в свою очередь, перепродало их ветеранам Чернобыля и ВВС. Ветераны (их-то и называли «журиковцами») сняли углы у поселковых и ждали разрешения конфликта. Петька как бывший десантник вошел в доверие к приезжим, создал комитет и организовал митинг на захваченной незаконно земле. Случилось это как раз в канун нового праздника, назначенного по неразумию в день Казанской Божьей матери. Не успели демонстранты развернуть транспарант и зачитать открытое письмо «гаранту», откуда ни возьмись нагрянул ОМОН, выкрутил протестантам руки и начал запихивать в автозак. Петька вырубил двоих нападавших, от третьего увернулся и пустился в бега. С тех пор его в поселке не видели, но во всех торговых точках, на почте и школьных воротах повесили листовки – сообщение о розыске опасного рецидивиста, организатора ОПГ и угрозы законно избранной власти. А потом пошли слухи, что его все-таки поймали и не то застрелили при попытке бегства, не то добили в УВД, и будто бы сам Журиков лично присутствовал при расправе. Маруся, уже изрядно беременная, бросилась по инстанциям, от прокурора до духовника бывшей жены «гаранта», молила полицейских сказать ей правду и хотя бы место, где Петька похоронен, – всё без толку. Пока обивала пороги, дом их у той самой рощи сгорел дотла, и в нём – глуховатый брат; полицейские сказали, что сам

напился паленой водки и уснул, не потушив сигарету, хотя Евстафий отродясь не курил и после травмы нос воротил от спиртного. Пришла Маруся с животом на пепелище, охнула и начала рожать. Увез ее в соседний район (Журиков за время своего правления два роддома вокруг Светлого пути снес, а землю застроил коттеджами) местный фельдшер, обещал им выделить комнату в своей квартире. Но не случилось – из роддома Маруся с младенцем уехала в неизвестном направлении. Говорят, какие-то два пожилых мужика, все в «Версаче» и «Гуччи», приехали на «мерседесе» и увезли обоих.

А вскоре на месте сгоревшего дома Петьки и Маруси появилась голубка, поменьше наших подмосковных и цветом поярче, собирала щепочки, сложила из них маленький ковчег, поворковала, махнула крылышком. Вскоре в Светлый путь приехала вдруг важная проверка: следователи и военкомы, распределили «журиковцев» по новостройкам райцентра, и самого Журикова увезли в автозаке. Появлялась голубка в поселке еще несколько раз – когда ребенок заболел или еще какая беда – и чудесным образом исчезала, как только малыш поправлялся и всё налаживалось. Племянник Маруси, пытливый отрок, сказал, что такие голубки водятся в Палестине и живут очень долго. Он же нашел как-то в интернете иллюстрированный сайт об обществе праведников, которые собрались на какой-то горе и направляют оттуда таинственные знаки во все стороны света – тем, кому нужна помощь, и туда, где больше всего попирают человека. Говорит, что видел среди них и Петьку, и Марусю, и их белоголового мальчика. Только кто же ему поверит, тем более в предновогоднюю ночь.

Венок
из одуванчиков

Дочь переплетчика

Пароход медленно приближался к берегу. На грязной палубе лежали Гейл и старик Мордехай. Они оба умирали. Ребенок, который жил в Гейл, уже много часов не подавал никаких признаков. Гейл про себя прочитала молитвы, еврейскую и русскую. Зачем прочитала русскую – не знала. Стало немного легче, она смогла открыть глаза.

– Я не дотяну до земли, – сказал Мордехай на идиш. – Жаль. Жаль, что нет раввина прочитать кадиш.

– Если хочешь, я прочитаю молитву, – сказала Гейл.

– Ты не раввин. И ты женщина.

– Я знаю, – ответила Гейл. – Но я смогу. И он услышит.

– Нет, отозвался Мордехай.

Они лежали под палящим солнцем, пароход остановился совсем, люди высыпали на палубу и громко разговаривали, смотрели на очертания Яффы, предвкушали прибытие.

Через несколько минут Мордехай снова заговорил.

– Жаль, что не увижу внука. Он первый из нашей семьи, кто родился на Эрец Исраэль. Я его никогда не видел. Горе.

Гейл отозвалась не сразу. Она пыталась снова помолиться, просить, чтобы ребенок жил, но разговор отнял много сил.

– Твой отец был раввин? Была дочь раввина, которая переоделась мужчиной и училась в ешиве. Это не ты?

– Ее звали Ентл. Мне отец рассказывал. Это было несколько лет назад, еще до революции.

– Так твой отец раввин?

– Он был переплетчик. Я ему помогала. Он был из Пинска, я тоже там родилась. Он много рассказывал.

- Так ты из Пинска?
- Нет, мы с отцом жили в Сибири.
- В Сибири есть евреи?
- Есть.
- И синагога?
- И даже не одна.

Пароход качнулся и начал движение.

Гейл зажмурилась, солнце било в глаза, она попыталась сесть.

- Где твой муж? – продолжал Мордехай?
- Он умер.
- Как его звали?

Гейл помедлила.

– Натан.

– Мой зять тоже Натан. Они с дочкой познакомились в Пинске. Уехали вместе, она писала, что родился внук. Я бы всё отдал, чтобы его увидеть.

Гейл вдруг захотелось пить. Уже сутки она не видела воды и перестала страдать от жажды. Она облизнула ссохшиеся губы, повернулась на бок. И тут ребенок властно заявил о себе, оттолкнувшись от окружающей его оболочки, и перевернулся. Гейл потеряла сознание.

Очнувшись, она увидела дрожащие веки Мордехая, который тяжело дышал.

– Ты увидишь своего внука. Он станет летчиком и погибнет в борьбе за свободу евреев. Его именем назовут улицу в большом городе. Здесь, в Израиле. И даже порт, откуда летают самолеты. Он будет великим человеком, ты можешь им гордиться.

– Откуда ты знаешь? – Мордехай тоже попытался приподняться.

– Не знаю. Но я вижу это. Я иногда вижу то, что будет. С детства. И ты можешь гордиться своим внуком. И тебе споет кадиш настоящий раввин.

Пароход причаливал. Гейл, обливаясь потом, с трудом протиснулась к долгожданному трапу. Пароход «Королева Мод», старая посуда из Одессы с двумястами евреями из Белоруссии и Украины, пришвартовался в Яффе 21 мая 1920 года.

На пристани кричали и размахивали руками люди, ожидающие своих родных, их имена выкрикивали пассажиры, перегнувшись через перила с борта, расталкивая друг друга и стремясь поскорее увидеть любимые лица; к кораблю торопились портовые рабочие грузчики с тележками, началась привычная суэта.

Мордехай спустился по трапу одним из последних, почти упал – Гейл видела, как его подхватил крепкий молодой мужчина в холщовом комбинезоне, поднял, как пушинку, и понес.

Через два дня старик умер на руках дочери и зятя, успев поцеловать внука и пожелать ему быть достойным евреем.

Ее никто не встречал.

Нетвердой походкой Гейл сошла на берег и упала ничком в горячий песок, и целовала эту землю, дарованную и благословенную, зовущую к себе через века, со всех краев, из всех городов и местечек, и благодарила за то, что ей выпало счастье слиться с ее песчинками, раствориться, как тысячи тех, кто не успел добраться, за незаслуженное счастье ощутить в себе ее, хотя бы на миг, но этот миг сравним с вечностью, которая ожидает всех.

Через неделю в стерильном здравпункте киббуца «Ахава» под Яффой она родила мальчика, которого назвали Иосиф. Она начала жить снова.

Вот уже года три или четыре я всё время думаю про нее, про девушку Гейл, не то приемную дочь нищего переплетчика Наума Гринберга, не то подкидыша, шиксу, трижды чужую всем, ничемную хромоножку, которая сидит часами в подвале барака на окраине Анжеро-Судженска, она же мастерская, с ворохом расстрепанных книжек и тетрадок: Тора, Библия, польский молитвенник, литовский словарь, Пушкин, Мицкевич, «Король Лир»,

«Нива», «Чтец-декламатор», прокламации рабочих кружков, «Искра»... Она старательно склеивает разорвавшиеся листки, ловко орудует толстой иглой, сшивая обложки, подправляет стершиеся буквы, которые кажутся живыми, на всех языках, и иногда останавливается, переживая заново давно знакомые события и тревоги, о которых написано в книгах, и, не сдерживая слез, повторяет строчки стихов, преодолевая неотступную мигрень (ей кажется, что эти строчки снимают боль), и засыпает над сохнувшими страницами. А иногда, то ли в полусне, то ли наяву, видит знакомых и совсем чужих людей, и то, что с ними неминуемо случится...

Вокруг шумят революционные события, стачки и облавы, бурлит политическая жизнь, гражданская война, рушатся и свершаются судьбы...

Я стараюсь уловить ее улыбку и интерес к прочитанному, движение рук, скрепляющих неверные листки, шепот при перечитывании текстов... Иногда отчетливо вижу ее широко раскрытые глаза – один серый, другой карий, вижу, как она едет на телеге вместе с Наумом в Томск, в синагогу, как отец учит ее Торе и поправляет криво склеенный переплет. Вижу польского рабочего Анджея, прячущего листовки под ее матрас перед приходом полиции, и отца Глеба в засаленной рясе, спешащего не столько забрать обновленный требник, сколько по традиции за разговором пропустить с Наумом стопочку-другую... Слышу голос артиста самодеятельного театра Римаса, репетирующего в этом же подвале, и вижу еще одну запрещенную книгу – литовский словарь, привезенный из Германии, и слышу, как стучит сердце Гейл, когда она видит Натана, жениха Розы, племянницы Наума. Как цокают копыта экипажа, на котором сын управляющего шахтами Анатолий приезжает забрать бережно отреставрированные Наумом скрипичные ноты, которые сжевал домашний пудель, как церемонно благодарит, платит втрое больше договоренного и не-

ожиданно целует покрытую цыпками руку Гейл, вышедшей передать заказ...

Пытаюсь восстановить повадку и говор жителей дореволюционного Анжеро–Судженска, рабочих и ссыльных, причуды копе-владельца Михельсона, хозяина угольных Кузнецких шахт.

Получается не вполне.

Я думаю об этих исчезнувших людях, об их надеждах, сомнениях, их жестах и привычках, как будто лично в моей судьбе что-то от них зависит. Как будто исчезнувшая в водовороте истории девушка Гейл, ее нелепая любовь, чужие стихи, словно приросшие к коже, ее видения – некий важнейший элемент в понимании не только того мира, который ушел, но и дня сегодняшнего. Что ее впечатления и чувства, ее жизнь, бесконечно далекая от магистральных путей эпохи, от всех возможных мейнстримов прошлого и настоящего, – тот недостающий голос, без которого понимание происходящего неполно. И неполна величественная и противоречивая картина мира...

В Анжеро-Судженске я никогда не была. Там родилась моя бабушка и ее братья и сестры, герои революционных дней и первых советских пятилеток. Там родилась моя мама. Там мой дедушка встретил мою бабушку, пролетарское происхождение которой не раз его выручало. Мне горько, что я в свое время так мало у них спрашивала и так и не выбралась в этот городок.

И теперь приходится воссоздавать то, о чём можно было, кажется, узнать так просто... Или нет? Или само понимание того, что не успела, приходит в свой черед, не раньше и не позже?

Я думаю о Гейл урывками, в аэропортах, в перерывах между выступлениями на конференциях, встречами, просыпаясь в гостиницах, названий которых уже не помню, – ее образ часто приходит ко мне прежде, чем мысль о том, в каком городе и какой стране я нахожусь, и зачем.

Она, как и я, много болела в детстве и не переносила путешествия. И только потом ей пришлось довольно много перемещаться в пространстве... И «Королева Мод» – не последнее ее транспортное средство... Мне горько, что не успела спросить у отца о том, как выглядели старые корабли в Одессе... Что вообще очень многое не успела. Как многие-многие мои сверстники.

Те, которые стали знаменитыми и удачливыми, и те, которые безвременно ушли, оставив краткий, но яркий след – или даже след того следа, который могли бы оставить...

Боюсь, о нас не будет много написано, по крайней мере, не много похожего на реальное положение вещей. Не только потому, что правда сегодня вообще не вызывает никакого доверия и популярный концепт утверждает, что правды вообще нет, как добра, демократии и всех прочих глупостей из доцифровой эры. «Пост-правда» больше, чем просто термин или мем; это метафора эпохи, в которой стало реальным то, о чём писали (довольно точно, надо сказать) фантасты прошлого; повседневностью стало то, что нормальному человеку представлялось еще недавно совершенно недопустимым и невозможным. И большинство с этим примиряется и почти приветствует.

Впрочем, это, кажется, уже было – и об этом уже писали, мы просто забыли, или не имеем времени и желания перечитать?

В том мире, где росла Гейл, было много зла. И разрушение его произошло неслучайно. Преобразование было овеяно героическим порывом и сопровождалось зверствами, как всякий погром. Но, может быть, есть смысл взглянуться в то, что происходило давно?

Когда мы с друзьями учились в университете, искали в литературной жизни прошлого героев, персонажей, с которыми хотелось бы себя сопоставить. Одним из любимых был Муни – молодой поэт, рано погибший, в трагическом поиске и неуверенности которого мы находили много параллелей. Мне кажется, что он

лучше всего отражает внутреннее состояние моих сверстников. Какова была бы судьба Муни в советские годы? В эмиграции?

Моим сверстникам обещали коммунизм к совершеннолетию. Конечно, никто не верил. Здоровый цинизм и понимание ограниченности возможностей выработало странное отношение к жизни, в котором превалировала ирония и вместе с тем проступало тайное желание всё же найти подлинную точку опоры... Отсюда интерес нашей маленькой группы (и таких было немало) к Серебряному веку, каких-то других сверстников – к декабристам, к первым христианам («первыми христианами», кстати, называли себя «шестидесятники», наши учителя)... Литература была намного ярче и живее окружающей нас реальности, она давала чувство защищенности и веру в неизменную победу лучшего... Неудивительно, что чтение было важнейшим занятием – читали «слепые» копии (популярная машинка «Эрика» не брала больше четырех) «Доктора Живаго» и «Приключений Чонкина», «Розы мира» и «Архипелага ГУЛАГ», полученные на одну ночь. Читали вместе, вслух, у кого-нибудь на кухне «Москва – Петушки» и «Зияющие высоты», Бродского и Коржавина... Бесчисленные открытые и тайные литературные кружки и сообщества – они были чем-то вроде собраний единоверцев, и трактовка знакомых всем строф и метафор становилась предметом длительных споров и сшибок характеров и подходов, напоминающих не столько интеллектуальные опыты, сколько теософские дебаты. Литература и была своего рода религией, и дружбы и романтические отношения часто определялись принадлежностью к ней. Александр Генис как-то сказал о своей юности: если девушке нравилась повесть «Джан», то в нее можно было влюбиться. Мы были значительно моложе, но принцип сохранялся... Интересно, что в Москве, Питере, Уфе, Иркутске или Ташкенте ты легко находил тех, с кем можно было продолжить разговор, начатый с другими людьми и в другом городе – это было поистине удивительно...

От тех дней и тех пылких увлечений, горячих объятий, разочарований и новых надежд, от веры в родство дружеских душ, которое крепче политического режима и решений комсомольских собраний, от фанатичной веры в слово, несущее правду и образ, которое непременно победит ложь и лицемерие, – от этого мира остались лишь разорванные воспоминания, разноцветные осколки, не складывающиеся с общую картину, как рассыпанные стекляшки из детского калейдоскопа.

Многих моих сверстников уже давно нет. Не только потому что вместо обещанного коммунизма началась Афганская война, венец советского идиотизма, похоронившая в конце концов и социализм по-советски, но до этого – тысячи солдат рядовой службы, советских офицеров и неведомое до сих по число мирных афганцев. Не только потому, что в вихре перемен – а мы были первым поколением, кто уже взрослыми, но еще очень молодыми почувствовали открывающиеся возможности, – искушения попробовать себя в новых, невероятных еще недавно, качествах не избежал, кажется, никто. И на переднем крае оказались очень многие, и многие погибли – за правду, за деньги или власть, за правое или неправое дело, в силу предательства или передозировки, неотвратимой болезни или нелепой случайности...

Вспоминаю близких друзей – их осталось пугающе мало, и круг сужается, хотя по законам современной физиологии впереди у нас должно быть еще как минимум тридцать-сорок лет сознательной и активной жизни... За сто лет продолжительность жизни в мире выросла практически вдвое – на четыре десятилетия! Но умирают мои сверстники по каким-то другим законам. Может быть, опять литература причиной? Ведь главные тексты, формирующие душу, были всё же написаны давно, когда жизнь была короче и стремительней...

Стремительное развитие событий, водоворот перемен, закручивающий судьбы, помноженный на умопомрачительный скачок

технологий во всех сферах, меняющий не только повседневность, но и сами представления о жизни и смерти, нарастающий ритм, за которым не успевают зрачок и кровообращение, и ускользающий от утомленного и растерянного сознания смысл происходящего – всё это никак не позволяет собрать разрозненные кусочки в общую картину, вывести некую спасительную формулу, найти слова...

Память о моих сверстниках – летучая субстанция, она неверна и избирательна, как наше сознание, раздерганное, невротичное и старающееся избежать ужаса распада. Пост-чернобыльское сознание, как говорят европейские философы, которое не умеет найти ответы на основные вопросы, и даже вера не вполне помогает их сформулировать... Память сердца так же неверна, как память о литературных героях, она замещает реальные события придуманными, воссозданными желанием сердца, и верит в прекрасный вымысел, и ищет в нём утешения...

Голос Сережи Шкаликова, прекрасного актера и поэта, для многих был тоже знаком эпохи, он и остался, как память о многих других, которые так же рано покинули нас, и звучал как рекем по всем на прощании с ним: «Даришь мне букетик одуванчиков, и плачешь – храни его, иначе я умру. Как же сохраню подарок твой я на таком ветру?».

Наши души – как пыльца придорожного растения, разлетелись по взвихренному пространству, унося с собой надежды и разочарования, и мечты, о которых уже никто никогда не узнает. Или нет? Или что-то может сохраниться и, возможно, это имеет смысл? Даже самая короткая и незаметная жизнь?

Я не готова думать, что мы были бессмысленны.

И поэтому, быть может, снова и снова пытаюсь вспомнить голоса и лица. И продолжаю в полусне и наяву беседовать с никогда не существовавшей девушкой Гейл из далекого сибирского городка. Мне кажется, она мне поможет понять самое главное.

Катя, моя американская сестра

Про Катю я услышала задолго до нашей первой встречи. О своей университетской подруге много рассказывал Джон Кохан, шеф московского бюро журнала «Тайм», «наш первый американец». Джон появился в нашей небольшой квартире на Лесной летом 1988 года, вскоре после публикации в «Литературке» Юркиного очерка «Лев прыгнул» – это был первый в официальной прессе материал о существовании мафии и организованной преступности в СССР. Юркин собеседник, молодой тогда криминолог Александр Гуров, потом признавался, что готовился к аресту после выхода газеты, того же мнения были и сослуживцы, обходившие его стороной несколько дней, до тех пор, пока Горбачёв не познакомился с материалом и не распорядился создать специальный отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в МВД.

Это был один из знаковых этапов перестройки – и одновременно начало новой расследовательской журналистики в стране, еще жившей под цензурой и партийным контролем. Щекочихин стал в тот момент самым известным советским журналистом. В «ЛГ» валом валили коллеги из изданий и компаний многих стран, стремились узнать подробности или взять интервью. Джон тоже пришел за интервью в редакцию, откуда они уже вместе прибыли на Лесную продолжить разговор, прихватив с собой бутылку «Столичной». Беседа затянулась за полночь, потом была совершена экспедиция за второй емкостью к таксистам на Новослободской улице, закончившаяся, как всегда, удачно, вопреки все-

союзной борьбе с пьянством и свободной продажей популярных в народе напитков. Под утро разрушивший окончательно все бытующие стереотипы о характере и привычках американцев гость мирно уснул на диванчике под детским пледом. С тех пор, до самого отъезда Джона из Москвы в 1996 году, мы встречались регулярно – на Лесной, на даче в Купавне (он стал также первым гражданином США, посетившим до того недоступный для иностранцев поселок, зажатый между засекреченным Центром наведения подводных лодок ВМФ и «главной глушилкой» Москвы – мощной РЛС, блокирующей сигналы «вражеских голосов»). Местные умельцы, впрочем, ухитрялись счастливо преодолевать помехи и за скромную плату совершенствовали «Спидолы» желающих, коих было половина поселка и стопроцентно – дачники. И, конечно, у Джона дома, в просторной корреспондентской квартире дома УПДК на Кутузовском, где очень быстро оказались все лучшие Юркины друзья, и обсуждались самые большие вопросы частного и общего существования, прошлого и настоящего, тексты будущих статей и прогнозы политического развития мира. Как сейчас помню, Миша Шилов провозглашает очередной раз: «Макромир ужасен, но микромир прекрасен! Так выпьем же за звездное небо над головой и внутренний мир внутри нас!»

Джон очень скоро влился в близкий, исключительно мужской ближний круг Юркиных «братьев» – молодых в основном людей, журналистов, артистов, ученых, объединенных великолепным чувством юмора, мечтой о скором царстве свободы и здравого смысла и отчаянным стремлением приблизить это будущее. Он много рассказывал об Америке и вспоминал свою однокашницу, с которой вместе изучали русскую литературу, ездили в Вермонт к Солженицыну и издавали студенческий журнал «Урбандус», посвященный переводам.

Рассказывал о ее русском муже, далеком от литературы технаре, который всё их жилище опутал проводами какой-то немыс-

лимой электроники (Катя всё время боялась запутаться), о ее интересе к современной русской культуре. Я живо представляла, как юная профессорша в очках пытается переступить переплетения проводов на полу... Джон твердил, что мы непременно должны познакомиться.

Я в это время была аспиранткой кафедры литературно-художественной критики и публицистики, заканчивала кандидатскую диссертацию о публицистике Фёдора Абрамова. Его романы и повести, спектакли «Деревянные кони» в Театре на Таганке в Москве и «Братья и сёстры» в Малом драматическом в Питере стали знаком времени, открыв страшную правду о трагедии русской деревни в XX веке. Писатель умер в 1983 году, а публицистика, дневники и заметки начали печатать только в перестройку, как и не увидевшие свет рассказы, отрывки из недописанной «Чистой книги», и они были как нельзя более созвучны времени. Среди дневниковых записей я нашла заметки о посещении русско-американской семьи в Нью-Йорке, их разговорах. Он хотел написать об этом повесть, его вообще увлекала идея своего рода «конвергенции», соединения западного рационального начала и уважения к закону и русского поиска идеала. Мечтал совместить лучшее из традиции отечественных западников и славянофилов. Я рассказывала Джону о своих робких научных выводах, когда он вспомнил – Абрамов был в гостях как раз у Кати и Славы. Это было его последнее путешествие в Америку и на Запад. Через много лет мне позвонил молодой американец, историк Анатолий Пинский, который тоже писал диссертацию об Абрамове – он шел совершенно моим путем, по моим адресам, и пришел к похожим выводам...

Но тогда, в конце 1980-х, всё это звучало довольно экзотично, и ответом на мои публикации об Абрамове стали гневные отповеди в «Нашем современнике»: покусилась на «святая святых», обозвала западником столпа «деревенской литературы». Я чувств-

вовала себя так, будто мне дали орден. Мой научный руководитель, Анатолий Георгиевич Бочаров, кажется, радовался не меньше. А самая первая наставница, Галина Андреевна Белая, своим «дочкам-ученицам» (у нас сложилась небольшая группа бывших студенток и аспиранток, которых она «удочерила») рассказывала о первых встречах советских и западных ученых и о молодых американских славистках, с которыми познакомилась во время первых российско-американских филологических диспутов и семинаров.

Когда Катя появилась наконец у Джона на Кутузовском, куда пришел Питер Устинов, американские и русские артисты, писатели, журналисты, и нас познакомили, ее первый вопрос был: как найти телефон Галины Андреевны Белой, который она потеряла. То есть наша встреча оказалась предопределена сразу с трех сторон... Это было лето 1989 года.

Зимой она приехала снова, и мы две недели почти круглосуточно колесили по Москве и Переделкину на моей «пятерке» – в гости к Евгению Пастернаку, Вознесенскому с Богуславской, к Голованову с Альбац, Валентину Берестову, Галине Андреевне... Катя стремилась встретиться со всеми, поговорить обо всём... Тогда она вместе с коллегой начинала писать учебник по истории русской литературы и обсуждала со мной первые главы... Мы говорили о России и Америке, о наших семьях и наших любимых авторах, о новых знакомых, о будущем, которое не может не быть прекрасным, это вообще было удивительное время открытий и ожиданий, и мы в нём участвовали... Этот порыв, это нетерпеливая жажда перемен, эта вера в неминуемое счастье роднили нас, таких разных, и сблизили навсегда. Когда весной 1991 года я приехала в Нью-Йорк (и это была моя первая заграница, не считая Болгарии и Чехословакии), на конференцию о женском творчестве «Гласность в двух культурах», члены нашей российской группы решили, что Катя – моя американская кузина, которую я скрывала.

Конференция, собравшая очень разных писательниц, феминисток, исследователей литературы, режиссеров и показавшая почти непреодолимое зияние между дискурсом американских гендерных исследований и дискурсом американской славистики, равно как и пропасть непонимания между русскими и американскими авторами, вызвала недоумение у многих наблюдателей, но тем не менее дала начало неостановимому движению русских и американских исследователей литературы и культуры навстречу друг другу. Именно эта странная и чрезвычайно насыщенная встреча проторила дорогу очень многим будущим программам и проектам.

Татьяна Толстая, Наталья Иванова, Зоя Богуславская, Светлана Василенко, Валерия Нарбикова, Лариса Ванеева, Олеся Николаева, режиссер Лана Гогоберидзе, философ Татьяна Клименкова, предпринимательница Диана Медман, которая привезла за свой счет редколлегию женского альманаха «Преображение», – всё это члены российской группы...

Катя подружилась со многими. Но особая связь у нее была с Галиной Андреевной, которая щедро приняла Катю в свою «семью» учениц и соратниц. Их сблизжала, конечно, любовь к Андрею Донатовичу Синявскому, давнему коллеге по ИМЛИ и другу Галины Андреевны и главному герою исследований и переводов Кати. А как они обе любили дизайнерские юбки!

Не скажу точно, в скольких городах мы с Катей бывали вместе. Хорошо помню свою первую конференцию американских славистов в Майами, где Катю ограбили на глазах у десятка человек: она неторопливо шла, беседуя с пожилой Верой Дарем о Пушкине (писала как раз книгу об африканских корнях и «небе Африки» в текстах), от одного корпуса пятизвездочной гостиницы к другому, как с обеих сторон двое гибких смуглых мотоциклистов ловко выхватили сумочки, висящие на плечах у женщин, и скрылись за поворотом. Полиция немедленно выяснила, что

транспортные средства угнали, виновных не нашли. Администрация гостиницы подарила Кате ящик шампанского и огромное блюдо фруктов, она стала героиней конференции, с бокалом в руке принимала гостей в своем номере, повторяя в который раз историю ограбления и не забывая при этом подсчитывать для страховой компании стоимость утраченного в сумке. Больше всего сокрушалась о студенческих работах, которые не успела проверить.

Катя была, бесспорно, перформансистка, в этом она неосознанно, я думаю, подражала Марье Васильевне Розановой, с которой у нее сложились непростые отношения, как, впрочем, у многих исследователей его творчества. Когда я сказала, что М.В. подарила мне одно из своих знаменитых платьев в обмен на мое, таджикское, которое ей в тот момент приглянулось, Катя не могла поверить. Обожала концептуальные мероприятия. Например, пригласить в Институт Гарримана, которым долгое время руководила, представителей одной семьи – Татьяну Толстую и Артемия Лебедева, Ясена и Ивана Засурских... Или поехать в «мишленовский» ресторан в пригороде Лиона, потому что о нём когда-то слышала от Синявского – и мы мчались в этот ресторан...

Она умела радоваться жизни, каждому дню, обожала шампанское, а в момент дружеской встречи неожиданно начинала придумывать новые проекты и хотела вовлечь в них всех симпатичных ей людей.

Она всегда мечтала осуществить суперпроект, который бы изменил мир, приблизил русских и американцев к взаимному пониманию и к взаимной симпатии, ей это казалось необходимым. Писатели и исследователи литературы, верила она, должны идти впереди. Как это было в конце 1980-х и начале 1990-х. И верила, что личный выбор каждого имеет значение для истории, что вообще историю делают люди, а не президенты и банкиры, и уж тем более не генералы.

В 2008 году, после того как мы практически каждый день часами говорили о событиях в Грузии, она решила создать онлайн-диалог для экспертов, журналистов, студентов из России и Америки. В 2010 году «АЙРЕКС» помог сделать сайт на русском и английском – «Диалог доверия». К сожалению, он не просуществовал долго.

В августе 1991-го мы вместе провели почти все три дня в Москве во время путча. Катя рвалась на баррикады защищать русскую демократию и бурно возмущалась, когда ее как женщину просили пойти домой в комендантский час. Мы успели написать об этом маленькую книжку, со снимками Кати, и посвятили ее памяти Юры, Катиного мужа Славы Непомнящего, и Галины Андреевны Белой.

Мы успели провести презентацию книжки 24 июня 2014 года в Москве, в ЦДЖ. Было очень много людей, Славин брат Володя и его жена Аня, наши друзья, Катинины студенты... Катя была счастлива. В тот же вечер, едва не опоздав на поезд, она с группой американских студентов отправилась по Транссибу в Монголию и потом Китай. У нее уже болела спина, она думала, это остеохондроз.

Осенью, уже принимая химию, она сказала мне: «Даже если бы я тогда знала, что это поездка меня убьет, я бы не отказалась».

Мы собирались написать книгу о Переделкине. Начали придумывать книгу о русских и американцах, не научную, просто для легкого чтения. О привычках и повседневности, шутках и мифах, о том, почему мы такие разные и почему важно научиться понимать друг друга...

Мы очень многого не успели.

Последний раз увиделись очень кратко, 8 марта 2015 года. Я планировала приехать к Кате позднее, но неожиданно случилась поездка на сессию ООН, на круглый стол по случаю двадцатилетия Пекинской женской конференции: он был намечен на

9-е, и 8-го я приехала на 80-ю улицу. Наташа Рамос, няня Оли Непомнящей и Калли Гамбрелл, решила поехать со мной. Дверь открыла незнакомая женщина-сиделка. Катя почти не вставала. Мы пробыли вместе часа полтора, Катя почти дремала. Я засоби-ралась на новую встречу.

– Ты уже уходишь? – спросила она.

– Я скоро вернусь. Через месяц или даже раньше, – ответила я. Днем 9 марта, сразу после выступления, я улетела в Москву.

Через несколько дней Кати не стало.

Катя Непомнящая, моя американская сестра, навсегда останется со мной.

Бессмертная любовь

Спецсеминар кафедры литературно-художественной критики, третий курс. Мы не успеваем обсудить всё в установленное время и продолжаем после занятий, провожая Галину Андреевну с факультета на другую ее работу – в ИМЛИ, а иногда – домой, в Беляево, в метро и потом на автобусе, с заходом в магазин, захватить что-то к чаю, и в разговорах наших смешиваются темы и имена – забытых и прославленных писателей 20-х годов, современных авторов и критиков, наших родных и близких...

Те, кому посчастливилось стать, хотя бы на время, частью ее близкого круга, мира постоянных собеседников, первых читателей новых статей, конфиденентов в оценке последних публикаций, участников двойного праздника 19 октября, ее дня рождения и лицейского дня, – навсегда сохранили в памяти ее улыбку, ее горящие глаза, ее неподдельный интерес и участие к происходящему в нашей жизни, ее искреннюю страсть ко всему творческому – будь то поэзия или новый крой юбки. «Если меня выгонят с работы, я не пропаду, – говорила она нам, – пойду шить юбки».

Страстью этой она умела заразить как никто. Сотни студентов журфака, а также неизвестное число вольнослушателей со всей Москвы, неизменно проникающие в аудиторию на ее лекции, заворожённо впитывали не только информацию и цитаты, довольно редко звучащие в те годы с университетской кафедры, но и саму ее нестандартную манеру, ее пристрастное отношение к героям лекций, о которых она говорила, как о близких людях. Она вообще не укладывалась в строгие нормы и скучные привычные фор-

маты, во всём. И образ ее – энергичные жесты, яркие бусы, короткая стрижка и дизайнерская одежда – был также своего рода вызовом.

Говорили, ее едва не выгнали из ИМЛИ за связь с диссидентами и отказ следовать букве и духу теории социалистического реализма, не пускали на филологический факультет и что только личные связи Засурского, Ковалёва и Бочарова дали ей возможность читать лекции у нас на журфаке, несмотря на то, что после многих из них в комитет ВЛКСМ и другие компетентные инстанции поступали доносы. Лекции Белой были знаком времени, таким же, как тусклые пропагандистские лозунги на московских улицах, как Олимпиада-1980, как лекции по теории и практике партийно-советской печати. Примечательно, что после лекции о значении Постановления ЦК КПСС о журнале «Звезда» и «Ленинград», через перемену в 15 минут, мы слушали лекцию Белой об Ахматовой и Зощенко, о трагедии и достоинстве. Достоинство, честь – эти понятия проходили сквозной темой через многие лекции, реплики, замечания. И вера в идеальную любовь. Галина Андреевна искренне и беззаветно верила в силу любви, в то, что любовь преодолет все неприятности и саму смерть. И считала, что каждая из нас, студенток, заслуживает идеальной любви и счастья. Она обсуждала наши личные истории не менее заинтересованно и взволнованно, чем курсовые и дипломные работы.

Великолепный Анатолий Георгиевич Бочаров говорил, что в ученицы Белой идут интеллигентные москвички, это было справедливо лишь отчасти: не все были москвички, и Олег Клинг не был ученицей.

Галина Андреевна была педагогом от Бога, ей был дан талант увлекать и раскрывать неведомые даже самому ученику способности, как и многие другие таланты. Учеников своих она стремилась приобщить ко всему, что сама любила. Как только начались первые обмены и совместные проекты России и западных стран,

старалась привлечь нас к этим новым программам. Не зная ни одного иностранного языка, она была, бесспорно, истинной гражданкой мира, раздвигая границы, соединяя людей и преодолевая предрассудки. Она была среди участников первой исторической встречи советской и эмигрантской литературной общественности в Копенгагене – одним из результатов встречи стало ее решение принять приглашение Юрия Афанасьева и создать факультет истории и литературы в РГГУ. Открытие мира, воссоединение культурных традиций, освобождение литературного пространства от идеологических оков – во всём этом Галина Андреевна принимала самое деятельное участие; бесспорно, ее вклад в освоение русского литературного наследия и установление диалога российских и западных исследователей трудно переоценить.

При этом ее внимание к «семье учеников», которая с каждым годом становилась всё более многочисленной, не убывало.

Она была счастливым человеком и остается для многих удивительным примером служения профессии и идеалам добра. И любовь, озарившая последние годы ее жизни, лишь подтвердила: Галина Андреевна, как всегда, была права.

Я наверняка не была ее «любимой дочкой», но после смерти моей мамы в 1996 году, 10 августа, до самой смерти Галины Андреевны 11 августа 2004-го не чувствовала себя сиротой. И боль утраты с годами не слабеет. Я продолжаю диалог с ней, и до сих пор жду подсказки, не находя ответа на мучительные вопросы, и верю, что она поможет... Как тогда, в заснеженной и слякотной Москве 1980 года...

Венок из одуванчиков

В начале года, разбирая дальний угол стола на даче, наткнулась на старую фотографию – Саша Коняшов, Саша Галушкин и я летом в парке, в венках из одуванчиков. Это 1978 год, мы с Галушкиным приехали в Коняшову в больницу МПС, долго гуляли по территории больницы, обсуждали «Уютный вечер» и решили сплести эти венки. Кажется, это единственная, в период напряженной работы над очередным номером, фотография редакционной коллегии скромного неподцензурного литературного альманаха, выходившего в трех экземплярах с оригинальными иллюстрациями Коняшова и текстами нас троих. Название «Уютный вечер» – цитата из Теофиля Готье, одноименное стихотворение мы единогласно решили избрать в качестве своего рода микроконституции. Мы не знали тогда знаменитых слов Андрея Синявского о том, что с Советской властью у него были исключительно стилистические разногласия, мы нашли свою формулу – как могли. Учеба на факультете журналистики МГУ – главной кузнице идеологических кадров страны – способствовала нашему творческому самоопределению как нельзя лучше, как и вся противоречивая и разносоставная московская среда периода, известного впоследствии как пышный расцвет удушающего брежневского застоя перед афганским вторжением и Московской Олимпиадой.

Мои экземпляры альманаха исчезли в череде переездов и перемен за последующие годы, я думала, честно говоря, что всё хранит Коняшов, и надеялась как-нибудь прийти посмотреть и даже снять копию. Саша обещал, но так и не успел – он скоропостижно умер в Испании нынешней весной. На похоронах мы с Галушкиным договорились встретиться и поговорить обо всём,

эта смерть обоих потрясла. Не успели. В июле Галушкина не стало. А про «Уютный вечер» я узнала, что Саша отдал свои экземпляры в Библиотеку Конгресса США как образец московского студенческого самиздата эпохи стагнации. Остался верен себе! За что я его еще больше уважаю.

Мы с Галушкиным познакомились осенью 1976 года в Школе юного журналиста при журфаке МГУ. Между прочим, он привел меня в редакцию газеты «Московский комсомолец», где уже успел опубликовать в рубрике «Комсовет» заметку о пустом и бессмысленном заседании школьного комитета комсомола, членом которого являлся, – самой яркой деталью репортажа был багровый отсвет заката за школьным окном, который призван был символизировать скорый конец эпохи тотального лицемерия и конъюнктуры в общественной школьной жизни. Впрочем, куда больше Сашу в тот момент интересовали западные музыкальные тренды (родители-геологи привозили из командировок виниловые диски, которые обменивались, продавались и становились предметом интеллектуальной рефлексии – см. рассказ «Слушая YES», один из знаковых текстов Галушкина той поры).

ШЮЖ – это продленное детство без купюр, лекции аспирантов факультета и походы в кафе «Московское», поездки на концерты КСП и в Коломенское (Саша жил на Затонной, и его школьные друзья Дима Пыжов, Андрей Куденко, Андрей Лунев быстро стали также нашими собратями, как и шюжовцы Серёжа Литвинов, Дима Мысяков, Света Резвушкина, Олег Вакуловский), знакомство с самодеятельным музеем Булгакова и путешествие в Орёл на постановку «Дней Турбинных» вместе с молодыми артистами – студентами театральных институтов... Мы и потом, уже на первом курсе, много ездили – в Питер (практически через неделю, а то и чаще), в Киев к коняшовским родным, в Купавну ко мне на дачу, где встречали Новый год в лютую стужу 1979-го, где придумывали праздники и творческие мастерские –

в том числе, знаменитые «слонарии», когда все присутствующие наряжались в старинные платья (гардероб моей бабушки пришелся очень кстати), слушали старинную музыку (Коняшову было запрещено играть на гитаре), пили французский коньяк (18 рублей «Курвуазье» и 22 рубля «Камю»), ели сыр рокфор и читали стихи авторов Серебряного века, представляя себя кем-нибудь из них... Придуманная жизнь – как запах засохших одуванчиков, затерявшихся в книге (см. гумилёвское «О, пожелтевшие цветы в забытых книгах библиотек...»), как тексты из затрепанного томика «Чтеца-декламатора», как видения из «Некрополя» Ходасевича – с обсуждения этой книги наш тройственный союз с Галушкиным и Коняшовым на первом курсе журфака стал на несколько лет неразрушимым (до этого мы так же страстно, вместе с Пыжовым и Галушкиным, переживали «Иудейскую войну» Фейхтвангера). Потом были Платонов, «Доктор Живаго», Тынников, Замятин, Шкловский... «Здравствуй, брат! Писать очень трудно...»

По гамбургскому счету, и никак иначе...

Литература была живее серой повседневности, она звала ввысь, она поддерживала в муках и сомнениях, вырывала из трясины. Саша вырвался первым из нас, когда мы это еще не поняли. И сохранил верность избранному пути, когда его вообще никто не понимал, долгое время. И победил. Одна из лучших книг – он составитель – «Гамбургский счет» – такой же знак перестройки, как весь наш журнал «Огонек», в котором он не печатался.

На прощании в огромном зале ИМЛИ коллеги, последователи, крупные ученые говорили об Александре Юрьевиче Галушкине, выдающемся филологе, руководителе отдела, редакторе, историке литературы, оставшемся в истории уже хотя бы своим служением Шкловскому и провинциальной литературной периодике 1920–1930-х. Всё верно. Он памятник себе воздвиг давно и совершенно сознательно. Он был всегда реально амбициозен, почти

высокомерен. И имел на это право. И монументальный образ, созданный коллегами, – он верный.

Но мне не забыть желтые одуванчики, которые Саша Коняшов проворнее любой девицы сплетал в венки и водружал на наши юные затылки, не ведающие о будущих испытаниях и годах...

И память о той – позапрошлой – жизни в стране, которой давно нет, и той придуманной и во многом наивной жизни в литературе – вопреки всему – дополняет монументальный портрет нечеткими, но важными чертами, без которых образ оказался бы неполным.

Саша Галушкин был очень живым и вполне созвучным своему времени молодым человеком, во всём...

И нескончаемое чувство вины – за то, что не сумели, и за те слова, которые мы так и не сказали друг другу... И – благодарность за счастье, которые мы не успели и не сумели оценить...

Венок из одуванчиков – знак нашего «Уютного вечера», символ ушедшей эпохи, исчезнувшей жизни... Не принесли ли его пушинки живые семена в новую реальность?.

Джейми

Она походила на молодого оленя. Каштановые кудряшки, удивленный взгляд, порывистые движения. Кардиган с карманами, брюки, пестрый шарф, круглые серьги. Такой Бэмби-подросток. Не походила на большинство слависток, с которыми мы успели познакомиться на первой единственной конференции американских и советских писательниц. Сейчас сказали бы, что в ней очевидно, в каждом жесте, в каждой детали, проступала ее принципиальная несистемность. Но тогда это слово еще не обрело сегодняшнего значения и не присутствовало в повседневном лексиконе. Она просто была немного другая. Нас познакомила моя первая американская подруга, моя «американская сестра» Катя Непомнящая, с которой мы уже успели подружиться в Москве и строили феерические совместные планы. Катя была тогда младшим профессором Барнард Колледжа в Колумбийском университете.

Джейми не была аспиранткой или профессором, она переводила рассказы Татьяны Толстой, и работала в журнале «Арт ин Америка». А еще одна дружила с Бродским.

После конференции я осталась на несколько дней в Нью-Йорке, и жила у Кати со Славой, в крошечной, заваленной книгами и компьютерной техникой квартире на Сентрал Парк Вест, повсюду на полу клубились запутанные провода, между ними бегала такса. Меня определили на кожаный диван, который не раздвигался из-за тесноты, ночью на диван, и на меня по привычке прыгала собака. Я практически не просыпалась, мне снилось, что на меня опустился дракон из японских миниатюр музея Метропоитен, мы как раз успели попасть туда перед закрытием.

Была весна 1991 года. Моя первая «заграница». Еще был Советский Союз, но уже рухнула Берлинская стена, не специально отобранные, но обычные граждане начали проникать в Америку, участвовать в маршах мира, всевозможных совместных акциях. Из «Огонька» первым поехал Виталий Коротич, он, впрочем, уже бывал там и раньше, сохранил связи, потом Валя Юмашев и Володя Вигилианский. Давняя подруга мамы Володи, писательницы Инны Варламовой, и организовала конференцию, на которую приехали два десятка очень разных женщин. Валя говорил, что больше всего в Америке его поразило то, что все улыбаются, по поводу и без повода. Из Володиного рассказа помню красочное описание магазина пуговиц – огромного, и пуговицы всех возможных и невозможных видов. Когда поделилась этим рассказом с портнихой, та немедленно сделала заказ на случай, если я тоже поеду. Про то, что в цитадели «желтого дьявола» прилавки ломятся от колбасы и прочих деликатесов, говорили все, по Москве гуляли апокрифы о том, как профессора, зайдя в гастроном, теряли сознание от вида и запаха. В Москве в это время по научным учреждениям и просто знакомым распределяли немецкую гуманитарную помощь – тушенку, сушеную фасоль, картофель и морковь, картофеля было больше всего, и он был совершенно несъедобный, сколько ни вари, но его также охотно разбирали, у многих остатки хранились долгие годы, едва ли не до 2000-го.

В первый же день я вышла из гостиницы в Вашингтон сквер, светило солнце, на молодой траве лежали и сидели студенты, пили кока-колу и воду прямо из горлышка, курили (тогда еще было можно) вокруг громоздились аскетичные прямоугольники университета, гудели такси, и я вдруг поняла, что это мой город, и я чувствую биение его сердца, как свое. Я подошла к передвижному киоску, купила маленькую пластиковую бутылку воды и горячий бублик, села на лавочку. Какой-то парень подошел и попро-

сил закурить, и не совсем понял, что я отвечаю. Но это было совершенно не важно.

Больше всего в Нью-Йорке поразили не магазины, о которых и так все знали, а многообразие лиц и антропологических типов в метро и на улицах – черных, смуглых, азиатских, все варианты смешения генов. Библиотека. Музеи, в которых не угадывался привычный порядок размещения экспонатов по эпохам или стилям, но поражала мощь и энергетика древних и современных культур, которые совершенно не противоречили друг другу и как будто вступали в неожиданный диалог. Многообразие этнических кафе и ресторанов, которые корреспондировались с возможностью узнать немедленно о любой культуре мира... Я ходила по городу одна, наполняясь его ритмом, его запахами, осваивая его пространства и закоулки, и вечером возвращалась к друзьям, где мы продолжали не законченные прошлой ночью разговоры.

К Кате неожиданно из Принстона приехала мама, по каким-то делам, на несколько дней. И я переехала к Джейми, в Ист Виллидж, практически в Сохо, на Грейт Джонс стрит, в лофт на четвертом этаже бывшего фабричного здания. В первый же вечер мы рассказали друг другу обо всем, о нашем детстве и родителях, первой любви и неудачных романах, подругах и друзьях, и под утро поняли, что мы не просто удивительно похожи, что мы почти одинаково видим и чувствуем то, что происходит вокруг... Русский язык у Джейми был невероятный, не только чистый, и почти неуловимый акцент, но она жила по-русски, чувствовала неуловимые нюансы, откликалась на невысказанные еще слова, что недоступно иностранцу. Переводчица она была просто гениальная, это я поняла потом, и бралась за трудные тексты – Цветаева, Родченко, потом Сорокин...

Она работала в художественном журнале «Арт ин Америка», рядом, на Бродвее, писала о современном искусстве, в том числе о нон-конформистском русском искусстве, знала всех, кажется, представителей этого направления и в Америке, и Москве.

Мы ходили в галереи и на выставки в музеи, гуляли по Сохо, вдвоем, или вместе с Джеймиными друзьями. Заходили к Бродскому. Первая встреча, на Мортон стрит в том же 1991 году, только летом, пришли вместе с тогдашним секретарем Бродского, Сашей Сумеркиным. Это уже другая, моя вторая поездка на конференцию исследователей русской культуры. Наша группа – Галина Андреевна Белая, Лена Скарлыгина, Джейми, Саша и я – пришли в 11 утра; Бродский веселился, жевал пробку из-под шампанского, которое открыл в честь нашего приезда, без конца курил. Мы знали, что у него очень большое сердце, могло остановиться каждую ночь. И боли. Было впечатление, что он стремится каждую минуту прожить как последнюю. Он только что закончил новую поэму- «Вертумн», и я предложила отвезти ее в «Огонек». Он не поверил – «Меня напечатают в «Огоньке»?

Напечатали поэму через две недели, я привезла экземпляр журнала в следующий приезд. Электронной почты тогда не было, даже факс послать за границу было проблемой, на весь «Огонек» был всего один аппарат, и один телефон с международной связью, они запирались на ключ в специальной комнате, и надо было всякий раз просить разрешения главного редактора, чтобы воспользоваться.

Лофт на Грейт Джонс стрит стал моим американским домом на несколько лет, я часто приезжала на конференции, по приглашению университетов читать лекции, Россия была в моде, и всегда проводила несколько дней в Нью-Йорке. Иногда случалось, что Джейми как раз в это время уезжала в Москву, и я брала у знакомых ключ.

Август 1991 я провела вместе с Джейми в Москве, в квартире архитектора Иосифа Уткина в Денежном переулке. Приехала к ней сразу из редакции 19 числа, сын с бабушками остались на даче, муж скрывался, его разыскивали гекачеписты. Наш журнал закрыли, мы готовили подпольный выпуск, нашли типографию.

Квартира Уткины была совсем рядом с Белым домом, она стала своего рода штабом, сюда приезжали мои коллеги, друзья Джейми-художники, по несколько раз в день заходил Иосиф Бакштейн и Ира Нахова, Катя со Славой, которые тоже оказались в Москве... Мы слушали прерывающиеся выпуски «Эха Москвы», встречали знакомых на баррикадах, не понимая, что участвуем в истории...

Она была создана для любви, в отличие от многих, для кого романы и партнерство составляют приятную или в меру важную часть личной повестки, которой отведено определенное место, для нее любовь была – все. Она была несчастна. Много лет любила русского художника, он возвращался к жене, мучил ее, исчезал, в конце концов ее бросил. Она его помнила всю жизнь. Когда через много лет увидела на открытии выставке неожиданно, потеряла сознание. Все последующие романы не спасали. Только дочь, которую она нашла в Ульяновском детдоме, когда уже работала в Москве в благотворительном фонде, дала ей успокоение.

Через два года в том же детдоме Катя и Слава нашли свою дочь Олю.

В Москве Джейми обычно жила у Игоря Макаревича и Лены Елагиной, у Уткиных она оказалась только потому, что Игорь с Леной поехали готовить свою выставку в Париж. Джейми и Лены и Игоря – это отдельная, удивительная страница той исчезнувшей уже московской жизни, мгновение которой успел запечатлеть Миша Миальчук в своих фотоработах...

Когда Джейми получила работу в Фонде Сороса в Москве, она сняла большую квартиру в знаменитом писательском доме в Лаврушинском переулке, она стала постоянным местом встречи всех русских и американских друзей. Казалось бы, наступила долгожданная гармония. Маленькая Калли, неизменные кошки, и даже временные постояльцы создавали ощущение устойчивости и уюта. Джейми в Москве в те годы была не просто заместителем Екате-

рины Юрьевны Гениевой, не только представителем фонда, который поддержал и сохранил (благодаря в основном Гениевой, бесспорно) культурное и гуманитарное наследие страны, библиотеки, музеи, университеты и школы, но и одним из основных участников современного интеллектуального процесса. Не только потому, что умела найти и убедить руководство фонда поддерживать новые проекты и программы, в которые верила. Она сама была живой участницей всего этого броуновского движения, стремительного обновления и обретения новых смыслов и горизонтов. Работая в фонде, она уже не так много писала, но ее укоренение и участие в московской жизни не просто укрепились, она растворилась в ней, как умеют только свои.

И продолжались наши ночные посиделки в бесконечных разговорах обо всем...

Зимой 2015 года, после смерти Катя Непомнящей, Кэрол Юланд и Нэнси Конди организовали в Техассе на очередной конференции славистов памятную встречу ее памяти. Джейми жила в Калли в Техассе, в доме, который достался в наследство от отца, и присоединилась к нам, и мы как будто снова оказались в вихре событий 1990-х. Она жила почти затворницей, мало переводила, посвящая все время дочери, ее большой дом, где жили несколько кошек и собака, удивительно напоминал московскую квартиру. Мы говорили о планах, о том, что надо непременно записать все, что мы помнили, и сказать о тех, кого любили... Говорили об этом еще – когда Джейми пригласили прочитать лекцию в «Гараж», о неонконформистском искусстве, и потом в Нью-Йорке, куда она вернулась, и наметили какие-то конкретные шаги... Последний раз это было в декабре 2019.

О том, что она заболела, я узнала сразу после Нового года.

Я успела ее увидеть, уже под действием лекарств, исхудавшую, практически без сознания. Мне кажется, она узнала меня, по крайней мере, она точно слышала мой голос и пыталась что-то сказать в ответ.

На следующий день к ней собиралась прийти Ира Нахова.

Не успела.

Проходя по московским улицам, в районе, куда вернулась через тридцать с лишним лет, мимо бывшего дома Джона Кохана, мимо Киевского вокзала, гостиницы «Украина», сменившей название, думая о происходящем, не раз и не два думаю, что надо бы позвонить Джейми, рассказать, обсудить... Иногда казалось, что я видела ее в толпе...

Джейми Гамбрелл, американка до мозга костей, москвичка 1990-х, без которой невозможно представить нашу тогдашнюю жизнь, с которой мы так крепко дружили, и так многое не успели...

Издания АИРО в 2018–2021 гг.

2018

- Смирнов С.Н.* Советская эпоха в переписке историков. Конец 1940-х – конец 1980-х годов. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 368 с.
- Кравчук Н.В.* Русь расколота (XIII–XV вв.). – М.: АИРО-XXI, 2018. – 304 с.
- Бирштейн В.Я.* СМЕРШ, секретное оружие Сталина / Послеслов. Б.В. Соколова; авториз. пер. с англ. С. С. Гитмана – М.: АИРО-XXI, 2018. – 832 с. (АИРО-XX – первая публикация в России).
- Рябцев В.Н.* Из истории геополитической мысли в России. XX век: малоизвестные страницы (очерки) / предисл А. А. Вартумяна. – М.: АИРО-XXI, 2018 г. – 720 с.
- Вада Харуки.* Политическая история России. Избранные труды. 1960–2017. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 592 с.; илл.
- Выдрин Дмитрий.* «Золотая игла», или Восьмой дан Владимира Путина / Под редакцией Дмитрия Андреева. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 240 с.; илл.
- Карл Аймермахер.* Воззрения и понимания. Попытки понять аспекты русской культуры умом. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 308 с.; илл.
- Е.В. Волженина.* Жизнетворчество грубых гуннов, или Модернизм – массам / Послесловие – Дмитрий Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 208 с. – (АИРО – Первая монография).
- М.А. Некрасов, Г.И. Маношкина. Сапожниковы.* Московские фабриканты – М.: АИРО-XXI, 2018. – 424 с. (АИРО – Монография).
- Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Мир в 2035 году. 29–30 июня 2017 г. Сборник материалов. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 128 с.
- 100 лет Красной Армии. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 192 с.
- М.А. Некрасов.* Савва Мамонтов. Молодые годы. – М.: АИРО-XXI, 2018. – 272 с. (АИРО – Монография).
- Ганс Моммзен.* Нацистский режим и уничтожение евреев в Европе / Предисловие Карла Аймермахера – М.: АИРО-XXI, 2018. – 240 с. – (АИРО – Первая публикация в России).

-
- С.Д. Яхонтов.* Воспоминания 1853–1917. Том 1. – М., 2017. – 984 с.
- С.Д. Яхонтов.* Воспоминания 1917–1942. Том 2. – М., 2017. – 836 с.
- Тамбовское восстание 1920 – 1921 гг.: исследования, документы, воспоминания / Под ред. А. В. Посадского. – М.: АИРО–XXI. 2018. – 320 с.; илл.
- Малькевич В.Л., Митрофанов И.Л.* Россия – 2018: от стагнации к прорыву / Предисловие академика РАН А.Д. Некипелова. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 608 с.
- Полковник В.К. Манакин и Саратовский корпус. Эпизод гражданской войны – М.: АИРО–XXI. 2018. – 520 с.
- История завоевания Средней Азии. В трех томах. Том 3. Вступит. статья, справки и комментарии, именной и географ. указатели – Г.А. Бордюгов, А.Г. Макаров, Б.В. Соколов. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 560 с.
- История завоевания Средней Азии. В трех томах. Том 1. Вступит. статья, справки и комментарии, именной и географ. указатели – Г.А. Бордюгов, А.Г. Макаров, Б.В. Соколов. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 544 с.
- История завоевания Средней Азии. В трех томах. Том 2. Вступит. статья, справки и комментарии, именной и географ. указатели – Г.А. Бордюгов, А.Г. Макаров, Б.В. Соколов. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 560 с.
- Егорова Екатерина.* «Метрополь» – столица Москвы. 2-е, расширенное и дополненное издание. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 448 с.
- Дедков Н.И., Бордюгов Г.А., Щербакова Е.И. и др.* История для экономистов. Интегрированный учебный комплекс для студентов экономических специальностей вузов Российской Федерации / Под общей редакцией А.Д. Некипелова и С.Н. Катырина. Том второй. М.: АИРО–XXI, 2018, – 1056 с.
- Russian Japanology Review. Vol. 1 / Ed. by D. Streltsov, S. Grishachev. Moscow: «АИРО–XXI», 2018.
- Кирьянов И.А., Золотухин Н.В.* Поветлужье в 1918 году. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 240 с.
- Ежегодник Японии. 2018. Т. 47. – М.: «АИРО–XXI», 2018. – 432 с.; илл.
- Козн Стивен.* Избранное. – М.: АИРО–XXI, 2018. – 800 с.; илл.

2019

- Дубровина О.В.* В отражении врага... Представления о Советской России в Италии в межвоенный период. 2-е издание исправленное и дополненное / (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО–XXI. 2019. – 408 с.
- Примаков Евгений.* Я исповедую оптимизм. Сборник стихов и размышлений. Составители Г.А. Бордюгов, А.М. Рыбаков. – М.: ТПП РФ, ЦМТ, АИРО–XXI, 2019. – 112 с.: илл.
- Андреев Д.А., Бордюгов Г.А., Рыбаков А.М.* Евгений Максимович Примаков: судьба и эпоха / Предисловие Владислава Малькевича. – М.: Издательство «Российская газета»; АИРО–XXI, 2019. – 216 с.

- Торгово-промышленная палата СССР в 1946–1991 гг. / Под редакцией Президента ТПП РФ С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; АИРО-XXI, 2019. – 320 с.; илл.
- Храм над Окой. Архитектурный проект Василия Поленова. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 144 с.
- Советская внешняя политика и дипломатия 1939 – 1941 гг.: нетривиальный взгляд на события. – М.: АИРО-XXI. 2019. – 192 с.
- Кривошеев В.Д.* Жизнь и приключения в эпоху перемен. До и после Перестройки. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 584 с.
- Шталь Е.Н.* Венедикт Ерофеев: писатель и его окружение. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 240 с.; илл.
- Некрасов Михаил, Дубинина Людмила.* Мария Фёдоровна Якунчикова. Жизнь и деятельность. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 496 с.
- Булгаков А.О.* Балашов в кольце фронтов. 1917 – 1921 / Под ред. А.В. Посадского. – М.: АИРО-XXI. 2019. – 272 с.
- Куренков Г.А.* Защита военной и государственной тайны. Главлит во время Великой Отечественной войны / (Серия «АИРО – монография»). – М.: АИРО-XXI, 2019. – 240 с.
- Невежин В.А.* Застолья Иосифа Сталина. Книга вторая. Обеды и ужины в узком кругу («симпозионы») / В.А. Невежин. - М.: АИРО-XXI, 2019. - 528 с.
- Бордюгов Г.А.* Пространства российской истории XX–XXI веков / Составление и предисловие – Дмитрий Андреев. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 352 с.
- Выжutowич Валерий.* Между тем / Предисловие Дмитрия Быкова. – М.: АИРО-XXI, 2019.
- Рифф, Гизела.* Линогравюры и тексты Карла Аймермахера / Перевод Д.Г. Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 192 с.
- Хрущёва Нина.* Пропавший сын Хрущёва, или когда ГУЛАГ в головах. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 208 с. : илл. – (АИРО – Первая публикация в России).
- Невежин В.А.* Застолья Иосифа Сталина. Книга первая. Большие кремлевские приемы 1930-х – 1940-х годов. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 560 с.
- Малькевич В.Л.* Революция 1917 года. Советский проект: начало. В 3-х книгах. Книга 1. Революция 1917 года: взгляд спустя столетие / Предисловие академика РАН Александра Дынкина. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 472 с. : илл.
- Malkevich V.L.* Russia and the United States: Fated to be Together? Russia and the United States: Fated to be Together? – Moscow: АИРО-XXI, 2019. – 408 p, illustrated.
- Фирсов, Фридрих.* Коминтерн: погоня за призраком. Переосмысление. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 672 с. – (АИРО – Монография).
- Историография новой и новейшей истории России. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI, 2019. – 272 с.

- Победа-75: реконструкция юбилея; под ред. Геннадия Бордюгова. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 800 с.; илл.
- Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А.* Ленин: культ и антикульт в пространствах памяти, истории и культуры. С Приложением С.П. Щербины. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 632 с.
- Бурнашева Н.И.* Власть и управление национальной окраиной: экономика Якутии в XIX – первой трети XX века. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 320 с. – (Серия «АИРО – монография» / под ред. Г.А. Бордюгова).
- Малькевич В.Л.* СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ: НАЧАЛО. В 3-х книгах. Книга 3. Победы и поражения в строительстве новой жизни (1920-е годы). Часть 2. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 736 с. : илл.
- Малькевич В.Л.* СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ: НАЧАЛО. В 3-х книгах. Книга 3. Победы и поражения в строительстве новой жизни (1920-е годы). Часть 1. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 640 с. : илл.
- Четырина Н.А.* Сергиевский посад – город с именем Преподобного (конец XVIII – начало XIX в.). – М.: АИРО-XXI, 2020. – 392 с. (Серия «АИРО – монография»).
- Кривошеев В.Д.* Легендарный театр. МХАТ им. М. Горького. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 180 с.
- Япония в эпоху великих трансформаций / Под редакцией профессора Д.В. Стрельцова – М., АИРО-XXI. 2020 – 320 с.
- Новосадоук Владимир.* Она и он в тени Алоиза. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 160 с.
- Белозерцев Е.П.* Моя образовательная лестница. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 512 с. : илл.
- Фоменко Игорь.* «Страна чудес». Россия на старинных картах (XIII–XIX вв.). – М.: АИРО-XXI, 2020. – 464 с.
- Максименков Леонид.* «Курильский» саммит. Визит премьер-министра Японии К. Танаки в СССР (7–10 октября 1973 года). Документы и записи переговоров. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 176 с. : илл.
- Кравчук Н.В.* Московское Чудо и Русская Реконкиста. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 448 с.
- Ничто не проходит бесследно. К юбилею Л.Н. Королёвой. Сост.: Геннадий Бордюгов, Анатолий Ложкин, Татьяна Щеглова. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 200 с. : илл.
- Невежин В.А.* Застолья Иосифа Сталина. Книга третья. Дипломатические приемы 1939–1945 гг. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 768 с.
- Ажгихина Надежда.* Письма из Москвы. Устная речь. Междометия. – АИРО-XXI, 2020. – 280 с. : илл.

- Катасонова Е.Л.* Новое японское кино: в споре с классикой экрана. Очерки современной японской массовой культуры / Ин-т востоковедения РАН. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 336 с.
- Ли Ларс.* ЛЕНИН / Перевод Ирины Давидян. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 200 с.
- Ленин и его время. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 256 с.
- Международный общественный форум «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах». Баку, 1–3 октября 2019 года. Материалы под ред. Геннадия Бордюгова и Валерия Рузина. – М.: Ассамблея народов Евразии; АИРО-XXI; Евразийская академия Телевидения и Радио. 2020. – 56 с.
- Материалы Международного общественного форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах». Севастополь, 14–16 мая 2019 года. Под ред. Геннадия Бордюгова и Валерия Рузина. М.: Ассамблея народов России; АИРО-XXI; Евразийская академия ТВ и Радио. 2020.
- Фирсов Фридрих.* Коминтерн: погоня за призраком. Переосмысление. – 2-е изд., исправл. и дополн. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 672 с. – (АИРО – Монография).
- Федор Крюков.* На Дону. В родных местах. М.: АИРО-XXI, 2020. – 384 с.
- Федор Крюков.* Накануне. В глубине. Повести, рассказы и очерки 1910–1914 гг. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 416 с.
- Федор Крюков.* Эпоха Столыпина. Революция 1905 года в России и на Дону / Предисловие и составление А. Г. Макарова. – М.: АИРО-XXI, 2020 – 368 с.
- Федор Крюков.* Картинки школьной жизни старой России. К источнику исцеления. Православный мир старой России глазами русского писателя. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 432 с.
- Федор Крюков.* Обвал. Смута 1917 года глазами русского писателя. 1917–1919. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 352 с.
- Федор Крюков.* На Германской войне. На фронте и в тылу. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 336 с.
- Актуальные проблемы истории России. Сб. ст. – М.: АИРО-XXI, 2020. – 208 с.

2021

- Фирсов, Фридрих.* Опыт семейной археологии. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 400 с. – (АИРО – Первая публикация»).
- Томилин В.Н.* Государство и колхозы: 1946–1964 гг. / В.Н. Томилин. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 448 с. (Серия «АИРО – монография»).
- Черёмушкин Пётр.* Александр Ведерников, главный дирижер. – М.: АИРО-XXI, 2021, – 184 с.

-
- Неймарк Норман.* Геноцид: всемирная история / Перевод Ирины Давидян. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 256 с. – (Серия «АИРО-XXI – первая публикация в России»).
- Гребенкин И.Н., Романика А.С.* Революционная Россия и военный вопрос: от Севастополя до Цусимы. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 288 с. – (Серия «АИРО – монография»).
- Торгово-промышленная палата Российской Федерации в 1991–2020 гг. / Под редакцией президента ТПП РФ С.Н. Катырина. – М.: ТПП РФ; ЦНИ «Актуальная история», 2021. – 464 с.; илл.
- Медведев Рой, Андреев Николай.* Владимир Путин и Си Цзиньпин: личность и лидерство. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 224 с.
- Крюков Федор.* Накануне. В час предрассветный. Статьи и очерки. М.: АИРО-XXI, 2021. – 368 с.
- Крюков Федор.* Старое поле. В начале пути. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 320 с.
- Феномен красной конницы в Гражданской войне / Под ред. А.В. Посадского. – М.: АИРО-XXI, 2021. – 336 с.

С этими и другими изданиями
вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте
www.airo-xxi.ru

Надежда Ажгихина

Девочка с птицами

Дизайн и верстка: *Сергей Щербина*



ЦНИ «Актуальная история»

E-mail: andmak@airo-xxi.ru

www.airo-xxi.ru

Подписано в печать с оригинал-макета 03.05.2021

Формат 60×80 (1)16. 14,0 усл. изд. л.

Тираж 300 экз. Зак.

Надежда Ажгихина – журналистка, писательница, активная участница многих российских и международных проектов в области защиты свободы слова, гендерного равенства и современной культуры, в том числе проектов АИРО-XXI. Кандидат филологических наук. Директор ПЭН-Москва, член Комитета женщин писательниц Международного ПЕНа, член исполкома «Артикль 19».



вом вторнике», Союзе журналистов России. Вице-президент Европейской федерации журналистов в 2013–2019-м. Публикуется в российской и зарубежной прессе. Автор нескольких книг публицистики, среди которых «Междометия» (2013), «Три дня в августе» (в соавторстве с К. Непомнящей, 2014), «Письма из Москвы. Прямая речь. Междометия» (2020), «Честное слово» (2020). Автор сценариев документальных фильмов «Юрий Щекочихин: «Однажды я был...» (2011), «Груз невершенного» (2016) и других. Составитель сборников прозы «Русский женский Декамерон» (2019) и «Дочки-матери» (2019). Автор сборника рассказов «Венок из одуванчиков» (2017).



Лет тридцать назад я вел литературный семинар молодых прозаиков при Союзе писателей. Народ в семинаре был разный, но талантливых ребят хватало. Занималась у меня и студентка МГУ девятнадцатилетняя Надя Ажгихина. Потом она стала журналисткой, потом – знаменитой журналисткой, вице-президентом Европейской федерации журналистов. Я искренне радовался ее успехам, хотя немного огорчился, что она оторвалась от прозы – мне нравились ее ранние рассказы. И вдруг она прислала рукопись прозаической книжки. Прочел, не отрываясь, и понял: всё, что Надя обещала в ранней молодости, сбылось, она стала настоящим прозаиком. Вторая книга уверенно продолжает и развивает многие темы, прозвучавшие в первой. Крупный писатель нередко определяется еще и тем, что создает свой мир. Как Гоголь – свою Диканьку, как Салтыков-Щедрин – свой город Глухов, как Маркес Макомбо, а Искандер свой Мукус. Я не сравниваю Ажгихину с классиками, просто отмечаю, что она по их примеру создала свой Светлый путь, маленький поселок, населенный очень разными людьми. Порой романтическими, порой наивными, порой смешными, но всегда интересными. Читается легко, но потом становится грустно. Потому что все эти нескладные светлопутинцы заслуживают нашего сочувствия, да, в общем-то, и любви. Ведь они такие же, как мы, – тоже мечтают о лучшей жизни,

Проза Ажгихиной талантлива, а талант всегда оптимистичен. Россия вошла в мир прежде всего своей литературой. И пока она рождает талантливых писателей, она бессмертна. Так что будем надеяться, всё обойдется!

Леонид Жуховицкий